

ГОСПОДИН
ВЛАДИКЪ
НОВГОРОДЪ



Николай Эдуардович Гейнце

Судные дни Великого Новгорода

Имя Николая Гейнце – видного русского писателя середины прошлого века, автора ряда исторических романов об истории России сравнительно мало известно отечественному читателю.

От множества современных и более поздних писателей, пишущих на ту же тему, его отличает глубокое проникновение в суть описываемых событий, активная работа с документальными источниками, многие из которых оказались безвозвратно утраченными в наши дни, активная гуманистическая и православная идея.

Повести о «Господине Великом Новгороде» воскрешают перед нами события XV – XVI веков, когда молодое российское самодержавие боролось с новгородской вольницей, противостоявшей утверждению абсолютной монархии на Руси.

Содержание

#1	0006
I. На Волховском мосту	.0006
II. Начало судных дней	.0019
III. Царский суд	.0029
IV. Афанасий «Горбач»	.0047
V. Без матери	.0065
VI. В Александровской слободе	.0081
VII. Первая любовь	.0096
VIII. В родительском доме	.0116
IX. Пред лицом царя	.0127
X. Христова невеста	.0141
ПОСЛЕСЛОВИЕ	.0150

Николай Эдуардович Гейнце Судные дни Великого Новгорода

*Сие неисповедимое колебание, падение,
разрушение великого Новгорода про-
должалось около шести недель.*
Из Новгородской летописи



I. На Волховском мосту

Раннее, яркое, уже с живительной теплотой близкой весны, февральское солнце осветило как бы запустелый Новгород.

На улицах, с месяц тому назад еще полных оживления и кипучей деятельности, не было ни одной живой души.

Было 12 февраля 1570 года, понедельник второй недели великого поста.

Второй месяц уже «отчина св. Софии», как звали в то время Новгород, переживала тяжелые дни.

Весь город обвинялся в страшном «государственном деле», измене державному царю.

Царь Иоанн Васильевич тайным походом прибыл 2 января 1570 года в Новгород чинить расправу с крамольниками.

Неумолима была расправа царя, – запустел Великий Новгород.

В описываемое нами раннее февральское утро только на Волховском мосту и близ него по берегу Волхова господствовало необычайное оживление. Но увы, как повсеместно в то время в России, жизнь лишь кипела там, где

царила смерть.

Это был исторически-кровавый парадокс действительности.

И на самом деле, со льда реки слышались раздирающие душу стоны и мольбы о помощи, но толпа, стоявшая на мосту и по берегу, безмолвствовала.

Большинство из этой толпы состояло из опричников, с не менее зверскими лицами, чем те собачьи головы, которые, как знаки их должности, вместе с метлами были привязаны к седлам их коней.

На середине моста был устроен род эшафота, с которого несчастных жертв бросали в полыньи Волхова, в тот год очень большие и частые. Самая большая полынья была как раз под средними городнями Волховского моста.

Чтобы вернее бросать в нее осужденных, и устроили эшафот.

Взводили на него связанных по ступенькам, с навязанными на шею камнями, и сталкивали с высоты.

Вода со льдом расхлестывалась высоко, принимая в лоно свою жертву, опускавшуюся прямо на дно. Случалось, впрочем, что жерт-

вы, в виду неминуемой гибели, боролись, выказывая сверхъестественную силу и, разумеется, только длили свою агонию, делая верную смерть лишь более мучительной.

Иногда, в борьбе за жизнь, жертве удавалось сбросить с шеи камень, и обреченный на гибель выплывал на поверхность, и, держась на воде, хватался за край ледяной коры полыньи.

Рассказывали даже про почти невероятное спасение некоторых.

Изобретательность расsvирепевших опричников не уставала, впрочем, придумать средства пресечь и для таких героев средства к спасению.

Кому-то из крошеников, при виде выплывающих и вылезавших на лед, пришла адская мысль: сесть в лодку с баграми и рогаatinaми да и доканчивать последнюю борьбу с топимыми.

Сказано-сделано, и вскоре полыньи волховские окрасились алой человеческой кровью.

В кровавых волнах захлебывались жертвы дьявольской изобретательности палачей.

По мосту, меж тем, гнали связанные толпы все новых и новых жертв «царского суда», как громко именовали кромешники свое кровавое своеволие.

Среди этих толп были и женщины, старые и молодые, иные с грудными детьми, плохо прикрытыми лохмотьями своих матерей, боногие и растрепанные.

С одной такой толпой повстречался, казалось, только что въехавший на Волховский мост всадник.

Это был статный, красивый юноша, в дорогом, хотя и помятом, видимо, от длинной дороги, костюме опричника.

Из-под надетой набекрень шапки выбивались русые кудри шелковистых волос, яркий румянец горел на нежной коже щек, а белизну лица оттеняли маленькие темно-русые усики и шелковистый пух небольшой бородки.

По удивленному взгляду его светло-голубых глаз, бросаемому им на окружавшую его толпу, на высившийся на мосту эшафот, можно было предположить, что он не был участником кровавой расправы своих товарищей с

народом, что он только что появился в злополучном городе, где поразившие его сцены уже стали заурядными.

Это первое впечатление было совершенно верно.

Семен Иванов Карасев, по прозвищу «Карась», так звали появившегося на мосту всадника, был отличен царской милостью среди своих сотоварищей опричников-ратников, он был стремянной царский, чем и объясняется богатство его костюма.

Посланный царем Иоанном в Литву с письмом к изменнику князю Курбскому, он всего несколько дней тому назад вернулся в Александровскую слободу, и, узнав, что царь в Новгороде, с радостью поскакал туда, не зная происходивших там ужасов.

Имелись причины тому, что сердце юноши, где бы ни находился он, оставалось в Новгороде.

Пораженный непонятным ему зрелищем, Семен Карасев ехал почти вровень с густой толпой жертв варварства царских палачей, как вдруг взгляд его упал на одну из связанных молодых женщин, бледную, растрепан-

ную, истерзанную. Черные, как смоль косы прядями рассыпались по полуобнаженной груди. Черты красивого лица были искажены страданиями.

Семен круто повернул коня.

– Аленушка!.. – крикнул он каким-то подавленным от внутренней боли голосом.

В нотах этого голоса, казалось, звучала слабая надежда на ошибку.

Увы, он не ошибся.

Молодая женщина, услышав произнесенным свое имя, вскинула на всадника свои большие черные глаза.

– Сеня, Сенечка!.. – каким-то стоном вырвалось из ее груди.

– Что с тобой? Как ты здесь?.. – подъехал к ней ближе Карасев.

– Оставь... пусть топят... один конец...

– Как топят?.. Кого топят?.. Когда?.. – переспросил он, не веря своим ушам, схватив уже за руку молодую женщину.

– Нас ведут топить... теперь...

– Как?.. Разве душегубство дозволено?.. Что вы сделали?..

– Мы – ничего... а топить ведут нас, как

вчера утопили сотни других, как нынче... как и завтра будут топить...

– Да где же я?.. Где все мы?.. Что это, сон, что ли?

– Нет, не сон... в Новгороде мы... на мосту... и с мосту здесь... по грехам людским, безвинных топят, бьют, рубят...

– Татарва, что ли, здесь... где же наши?!.

– Не татарва... свои рубят и топят... по цареву, бают, повелению...

– Не может быть!.. Ты с ума сошла!..

– Дал бы Бог, легче бы было!..

– Что говорит она?.. Куда ведут их?.. – грозно спросил он у одного из опричников, гнавших толпу.

Последний хотел огрызнуться, но видя метлу и собачью голову, только оглядел Карасева с головы до ног и отрывисто произнес:

– Не наше с тобой дело спрашивать... Больно любопытен не кстати!..

– Отвечай! – не владея собой и обнажив меч, крикнул Семен дерзкому, и тот, по богатой одежде оценивая значение его в опричнине, неохотно, но ответил:

– Топить... известно! Да ты кто?

– Я царский стремянной Семен Карасев, и таких разбойников как ты, наряженных опричниками, угомонить еще могу...

С этими словами он рубанул его со всего молодецкого плеча.

Как сноп повалился ратник, подскакал другой, но и его уложил меч Карасева.

Гнавшие женщин побежали с криком:

– Измена! Измена!

Крик этот достиг до ушей распорядившегося этой дикой расправой любимца царя Григория Лукьяновича Малюты-Скуратова-Бельского. Он считался грозой даже среди опричников, и, в силу своего влияния на Иоанна, имел громадное значение не только в опричнине, но, к сожалению, и во всем русском государстве.

Григорий Лукьянович пришпорил своего вороного коня, сбруя которого отличалась необычайной роскошью, и поскакал по направлению, откуда раздавались крики.

Одновременно с ним, с другой стороны, скакали на внезапного врага еще пятеро опричников. Семен Карасев с одного удара успел свалить по одиночке троих; удар чет-

вертому был неудачнее, он попал вскользь, однако ранил руку, а пятый не успел поднять меча, как споткнулся с конем и потерял под ударом меча свою буйную голову.

В это мгновение сзади наскочил на Карасева Малюта и кнутовищем ударил по голове храбреца.

Ошеломленной неожиданностью, Семен быстро обернулся и уже занес тяжелый меч, чтобы перерубить на двое напавшего на него, как Григорий Лукьянович, мгновенно отскочив в сторону, окликнул его.

– Карась!

Сиплый голос Малюты, его скуластая, отвратительная наружность, его космы жестких рыжих волос и, наконец, его глаза, горевшие огнем дикой злобы, слишком хорошо были известны Карасеву, чтобы он тотчас же не узнал грозного опричника и не опустил меч.

– Ты что тут затеял?.. Своих бить? – крикнул Малюта.

– Я бью не своих, а разбойников...

– Я тебе покажу рассуждать... Как смел ты поднять руку на царевых слуг!

– Царь не атаман разбойников... Суди меня

Бог и государь, коли в чем повинен я, а невинных бить не дам, пока жив...

– Какие такие невинные?.. Каких тут невинных бьют... Ты не в своем уме, парень... Бьют изменников...

– Нет, Григорий Лукьянович, хорошо слышал я слова этой девушки...

Голос Семена дрогнул, и он рукой указал на как бы инстинктивно прижавшуюся к его коню, почти лишавшуюся чувств девушку.

– Да и злодей тот, которого уложил я первым, подтвердил, что этих женщин топить вели... В чем повинны они?.. – продолжал Карасев.

Малюта взглянул на девушку, и в глазах его сверкнул какой-то адский огонек.

– Краля-то, кажись, знакомая... Кабы по добру обратился ко мне, наградил бы я тебя, царского слугу, этим сокровищем... Отец ее, Афанасий Горбач, в изменном деле уличен и на правеже сдох под палками, а молодая, видно, сгрубилa нашим молодцам...

При этих словах Григория Лукьяновича несчастная девушка как-то дико застонала и окончательно лишилась чувств.

Если бы Семен Карасев ловко не подхватил ее и не положил поперек седла, она бы упала на землю.

Занятый этим, он не успел даже ответить что-либо Малюте, но бросил на него лишь взгляд, полный непримиримой ненависти.

Тот же, между тем, продолжал с усмешкой:
– А теперь... невинность-то ее разберут после... Брось бабу, да и меч, оскверненный убийством своих и... следуй за мной. Бери его! – крикнул Малюта подоспевшим трем, четверем опричникам.

– Ну, это погодишь... ее я не отдам, да и меча не брошу... Коли своих бил этим мечом – пусть судит меня царь! Если скажет он, что губят народ по его указу – поверю... А тебе, Григорий Лукьянович, не верю! Погиб я тогда, не спорю и защищаться не хочу... Да и не жизнь мне, коли в словах твоих хоть доля правды.

Размахивая мечом, Карасев не давал к себе подступиться, отваги же броситься под шальной удар при виде убитых уже неожиданным врагом у опричников не хватало.

– Вишь, он рехнулся, Григорий Лукьяно-

вич! – отозвался один из опричников. – Пусть идет к царю! – лукаво подмигнул он Малюте.

– Добро, пусть судит тебя царь, любимца своего... – поддакнул Малюта, не думая, чтобы горячему Карасеву удалось проникнуть к державному.

Сам он мысленно решил все-таки предупредить его и доложить Иоанну Васильевичу все дело предварительно, дабы колючая правда не представилась царю во всем неприкосновенном своем виде.

Озаренный этой мыслью, он повернул коня по направлению к Городищу, где были царские палаты.

Семен Иванов, все с поднятым высоко мечом, тоже выехал из толпы со своей драгоценной ношей.

Окружившие его опричники, казалось, застыли в неподвижности, как бы загипнотизированные видом твердо держимого меча, покрытого кровью, на лезвие которого весело играло яркое февральское солнце.

Съехав с моста, Семен тихо двинулся по пустынным улицам города, думая свою горькую думу и неотводно глядя на лежавшую недви-

жимо, поперек седла, свою невесту, дочь именитого новгородского купца, Елену Афанасьевну Горбачеву.

II. Начало судебных дней

Описанные нами в предыдущей главе душу потрясающие сцены, имевшие место у Волховского моста, явились как бы финальными картинами той кровавой драмы новгородского погрома, разыгравшейся в течение января и февраля месяца 1570 года в «отчине Святой Софии».

Но еще месяца за два до наступления «судных дней» люди новгородские уже чувствовали сгустившуюся атмосферу, уже ожидали надвигающуюся грозу.

В начале ноября 1569 года в Новгород прибыл посланец царя – опричник, имя которого уже было заклеено в России презрением и ужасом, Григорий Лукьянович Малюта-Скуратов.

Именем царским новгородский воевода был потребован ко владыке, где уже сидел Малюта со своими приближенными опричниками.

Воевода явился вместе с представителями города.

Вслед за ним собрались конейские старосты

и бояре владычные.

Григорий Лукьянович встал и сказал:

– Господа власти, идемте к святой Софии. Там я доложу волю государя нашего, великого князя Ивана Васильевича.

Слова эти всех озадачили. Что бы это значило? Какие новости в храме святой Софии поведает грозный посланец царский.

– Глянько-те, идем мы, а за нами кибитка едет с опричными людьми и со стрельцами, – говорили друг другу новгородцы, идя в собор.

Перекрестившись, вступили все они в святое место. У многих сильно почему-то забилося сердце. Не даром молвит пословица: «ретивое-вещун».

– Все ли здесь? – зычным голосом окликнул Малюта, когда толпа сановников остановилась под куполом храма.

– Все!

– Андрей и Семен, делайте свое дело! – крикнул Григорий Лукьянович, – и двое стрельцов, выступив вперед, пошли на солею перед царскими вратами.

Один из стрельцов влез по приставленной к иконостасу лесенке и стал отдергивать гвоз-

дики у ризы на иконе Богоматери.

Во храме все стихло, затаило дыхание.

– Готово, государь Григорий Лукьянович! Повели взымать кому ни на есть! – крикнул стрелец, отогнув край иконной визы и спустившись на земь.

– Господа власти и лучшие люди новгородские, – обратился Малюта к представителям города, – Государь и великий князь Иван Васильевич повелел избрать между вами мужа, кому вы доверяете, для одного дела... Назовите мне этого избранника вашего!..

Поднялся шепот и после непродолжительных пререканий выдвинули старосту Плотницкого конца, мужа именитого, пользовавшегося общим почетом в городе – купца Афанасия Афанасьевича Горбачева, по народному прозвищу Горбача, седого, благообразного старца.

– Изволь-ка ты, почтенный, влезть по лесенке к иконе Богородицы, к Знаменью, – обратился к выборному Малюта.

Тот повиновался.

Остановясь наравне с иконою, он вопросительно посмотрел на Малюту.

– Заложил руку под ризу, где отогнуто, и по-
ищи: нет ли между иконой и ризой чего ни-
на есть, а буде ущупаешь, вынь и давай сюда.

Слова эти прозвучали в никем не нарушае-
мой тишине. Казалось, никто не смел дохнуть
в напряженном ожидании. Взоры всех были
устремлены на икону и на выборного.

Последний запустил руку за ризу и вынул
оттуда бумажный столбец! Это было дело од-
ного мгновения.

Степенно, со столбцом в руке, сошел он с
лесенки и, подошедши к Малюте, подал ему.

Григорий Лукьянович развернул свиток и,
возвратив доставшему, велел читать громко
вслух.

Удивление слушателей росло с каждым но-
вым словом никому неведомых условий, за-
ключенных будто бы с королем польским
Жигмонтом о предании ему Великого Новго-
рода и о призвании на княжество под его ко-
ролевской рукой князя Владимира Андрееви-
ча.

– Совсем это неподобное дело... – прошеп-
тал про себя Афанасий Афанасьевич и бросил
свиток.

– Читай! – крикнул с яростью в голосе Малюта. – Не кончил еще... не все...

Горбачев стал читать снова. Начался длинный перечень подписавших. При произнесении своего имени каждый из присутствовавших невольно вздрагивал.

– Слышите?.. Что скажите? – зарычал Малюта, когда чтец кончил.

В церкви все безмолвствовало.

– Посмотрите поближе подписи, похожи ли на ваши? – спросил Григорий Лукьянович.

– Я не писал, а подпись свою по сходству отрицать не могу и не смею... – отозвался первый Горбачев.

То же сказали и остальные.

– Воровски это сделано, милостивец, воровски!.. – объяснили все хором.

– Воровски?.. – повторил Малюта. – Стало быть, подлог подозреваете?.. Изрядно... Представим государю, что здесь было... и воровство укажем... несомненное, да получим приказ, что дальше делать. Перед вами все было, мы тут не причем...

Малюта направился вон из собора, унося с собой найденный столбец.

Вечером в этот же день он увез с собою связанного софийского ключаря, ничего не сумевшего ответить на вопрос, как очутился за иконой столбец.

Наступила для новгородцев пора томительного ожидания, чем разрешится вопрос о найденном и какими-то неисповедимыми судьбами попавшем за соборную икону приговоре, доказательстве огульной измены целого города.

Никому и не приходило в голову, что это дело рук любимца царя, Малюты Скуратова, и его клеветы, бродяги Петра Волынца.

Со дня на день паника ожидания возрастала. Из Александровской слободы стали, между тем, доходить далеко не утешительные вести. Пришло известие о смерти князя Владимира Андреевича и его супруги, княгини Евдокии, родом княжны Одоевской.

Готовящаяся гроза стала несомненна.

Наконец 2 января передовая многочисленная дружина государева вошла в Новгород, окружив его со всех сторон крепкими заставами, дабы ни один человек не мог спастись бегством. Опечатали церкви, монастыри в го-

роде и окрестностях, связали иноков и священников, взыскивали с каждого из них по двадцати рублей, а кто не мог заплатить сей цены, того ставили на правеж: всенародно били, секли с утра до вечера. Опечатали и дворы всех граждан богатых; купцов, приказных людей оковали цепями, жен и детей стегали в домах.

Царствовала тишина ужасная.

Никто не знал ни вины, ни предлога сей опалы.

Ждали прибытия государева.

Ужас горожан, увеличивавшийся с каждым новым распоряжением, предвещавшим незаслуженную, а потому и неведомую грозу, достиг полного развития со вступлением в слободы еще тысячи опричников, когда царь остановился на Городище.

Чуть брезжился дневной свет в праздник Богоявления, когда владыка Пимен со всем духовенством пошел крестным ходом на встречу самодержцу, при звоне всех колоколов в городе.

На Волховском мосту приблизившийся к государю владыка остановился служить со-

борно молебен о благополучном государевом прибытии. Чинно совершено было богослужение. Смиренно подступил владыка со святым крестом к Иоанну, как вдруг, отстраняя от себя крест, царь грозно крикнул архиепископу:

– Злочестивец, в руке твоей не крест животворящий, а оружие убийственное, которое ты хочешь вонзить нам в сердце. Знаю умысел твой и всех гнусных новгородцев; знаю, что вы готовитесь предаться Сигизмунду-Августу. Отселе ты уже не пастырь, а враг церкви и святой Софии, хищный волк, губитель, ненавистник венца Мономахова. Ступай в храм!

От ярости царь не мог более говорить и лишь рукой указал по направлению к собору.

Как тени, беззвучно двинулись туда ряды духовных, с архиепископом во главе.

Много горячих слез было пролито у искренно молящихся в соборе во время литургии; не дошла, видно, только до Создателя молитва о миновании чаши гнева царского.

Звук грозных слов царя архиепископу успел несколько затихнуть в ушах и умах трепетавших служителей церкви к концу мирно

совершенного богослужения.

Начали уже надеяться, авось этой вспышкой на мосту и пройдет зло софийского доноса.

Государь из собора пошел в архиерейский дом к обеду.

Гости сели за стол.

Владыка робко, но внятно, прочел молитву.

Стали обносить блюда по рядам столовавших, по чину.

Отведали крепкого меда софийского бояре московские, и, поглядывая издали на государя, стали перекидываться словами, как вдруг опять мрачнее грозовой тучи поднялся с места Иоанн.

Он увидел, что владыке подали чашу и он собирается ударить челом государю на отложение гнева царского.

– Бери его, – крикнул державный кромешникам, и через мгновение лютые исполнители умчали из палаты преосвященного.

Тут же были схвачены бояре и дворяне, софийские духовные власти и вся прислуга владычная.

Царь с царевичем Иваном уехали на Городище.

Одни бояре московские остались доканчивать обед.

Опричники-ратники только и ожидали окончания трапезы. Едва разъехались бояре, как начался грабеж палат архиепископских и даже монашеских келий.

Из софийской церкви взяли ризничью казну, сосуды, иконы, колокола.

Обнажили и другие храмы в богатых монастырях.

Жители Новгорода в паническом страхе попрятались в дома свои, а иные даже покинули жилища и бежали в ближайшие леса. Последние, как мы видим, избрали благую долю.

Совершившиеся насилия были только началом конца.

III. Царский суд

Через несколько дней открылся невиданный в истории суд.

На Городище, на улице, наскоро было устроено возвышение, с престолом для царя и креслом для царевича Ивана.

Возвышение это было обито сукном цвета пурпура. Вокруг этой эстрады разместились густыми рядами московские бояре и опричники, оставив широкое пространство для приближения к возвышению.

У его ступенек стояли столы приказных и дьяков, на обязанности которых лежало записывать показания приводимых к допросу новгородских обывателей и обывательниц, якобы прикосновенных к делу.

Григорий Лукьянович, стоявший во главе новгородских розысков, только что оправившийся и хотя все еще сильно страдавший от ран, полученных им от крымцев при Торжке, проявил в этом деле всю свою адскую энергию и, нахватав тысячи народа, что называется «с бору по сосенке», захотел окончательно убедить и без того мнительного и большого

царя в существовавшем будто бы заговоре на него целого города, скопом, раздув из пустяков «страшное изменное дело».

Розыски, впрочем, не привели ни к чему, никто на допросах, несмотря на пытки и истязания, не сознался в преступлении, которого и не существовало.

Следователь Малюта был поставлен в затруднение, но недолгое для его хитрого ума.

Он стал убеждать Иоанна, не чуждого, несмотря на свой высокий ум, предрассудков своего времени, в существовании в деле колдовства, которое осветило души новгородцев нечистою силой.

– Удалось мне, державный, захватить до десятка баб ведуний, – докладывал он царю, – всячески склонял я их к признанию, священников заставлял их отчитывать, святою водою кропить... не поддаются чары дьявольские... упорствуют проклятые, слова не добьешься от них... А может, духовные тоже осенены, так молитва их и не действует... Разве только лично ты, государь, поборешь словом да светлым взглядом твоим силу дьявольскую... – заключил хитрый доносчик.

Царю, видимо, понравилась эта уверенность в его победе над врагом человеческим.

– Так ты ведуний этих поставь мне на суд с первоначалу! – решил Иоанн, поддавшись лести и уверенный, что царское слово разрушит чары и заставит говорить правду.

Дело Малюты было сделано, царь придет в исступление от молчания захваченных баб, а молчать они будут поневоле, так как отрезанны у них по приказанию Григория Лукьяновича языки – не вырастут.

Суд царский, значит, состоится, достойный его кровавого инициатора.

На этом и был построен весь план страшной трагедии, данной в Новгороде 8 января 1570 года.

Мрачно начался этот роковой день.

Уже совсем рассвело, когда духовник Иоанна вошел в божницу государеву, прервав чуткий сон царя, только под утро забывшегося в легкой дремоте.

Всю ночь не сомкнул глаз державный повелитель земли русской; думы, одна другой мрачнее, неслись в царственной голове и терзали сердце, вызывая в душе ряд кипучих со-

мнений.

С одной стороны, ум Иоанна не допускал возможности поголовного отрицания чего бы то ни было, даже вины, а между тем Малюта говорил ему именно это. Рождался таким образом вопрос: «была ли вина»?

С другой, суеверие царя наполняло его мозг страшными картинами дьявольского наваждения, колдовства; картинами, навеянными на него хитрым любимцем.

Являлось решение: «побороть силу дьявольскую».

В этой-то борьбе с самим собою провел государь мучительную ночь накануне назначенного утра «царского суда».

Была минута, когда государь совсем уже решил бросить новгородский розыск, положить на совесть обвиняемым смутное сплетение мнимых ветвей заговора, выпустить Пимена и всех заключенных, да и ускакать, не оглядываясь, в Александровскую слободу.

Отравление брата, вина которого представлялась порой измученной совести царя далеко не доказанной, сильно повлияло на такое направление его мыслей.

Это было на рассвете, и с этим решением Иоанн забылся чутким утренним сном.

Прерванный приходом духовника, он не укрепил царя, а напротив, привел в еще более раздражительное состояние нравственно убитого венценосца.

Вслед за духовником вошел в опочивальню царя Григорий Лукьянович и, воспользовавшись царским настроением, стал снова возводить гору обвинений на попов, монахов и властей новгородских. По его словам, они покрывали знахарей и ведуний, которые, под видом юродивых, беспрепятственно расхаживали по городу и предсказывали народу, что под правлением князя Владимира Андреевича и под покровительною сенью ляшского господства окончатся все беды новгородские, что всюду будет довольство и обилие, вместо теперешнего упадка и скудости, вызванных рядом неурожайных лет.

Попы, монахи и власти, по словам Малюты, внушали своим пасомым и подначальным верить этим предсказаниям.

Мысли царя, под влиянием речей Малюты, снова поколебались; это окончательно лиши-

ло сил болезненно возбужденный организм Грозного.

Ум его в таком состоянии делался способен на одни лихорадочные скачки и легко приходил к самым нелогичным выводам, поддаваясь попеременно паническому страху и гневному раздражению.

Бледный, с горящими дикой яростью глазами, выехал Иоанн на место «царского суда», конь-о-конь с царевичем Иваном, сопровождаемый блестящей свитой московских бояр и опричников.

Сойдя с коня, государь, опираясь на руку сына, поднялся по ступеням и, подойдя к своему престолу, остановился, обернулся к народу, несметными толпами окружавшему место «суда», и сказал:

– Новгородцы! Приступаю к суду над крамольниками... не кладу опалы на невинных... Горе тем, кто вздумает запирачься и не отвечать по совести, о чем спросят его... Я сам выслушаю все... Не допущу крамолы; казнь нечестие... Не обманет меня упорное отрицание или молчание!.. Толикое зло вызовет злейшую кару...

Голос царя дрожал от волнения, но был звучен и полон гнева.

Кругом у подножия царского престола царила мертвая тишина.

Народ в толпе инстинктивно жался друг к другу. Многие любовались зрелищем царского величия, не понимая рокового значения происходившего.

Царь воссел на престол. По правую руку его сел в кресло царевич. По левую встал Григорий Лукьянович Малюта-Скуратов.

Лицо последнего было страшнее обыкновенного от игравшей на его толстых чувственных губах улыбки злобной радости.

Взглядом какого-то дьявольского торжества обвел он кучки связанных мужчин и женщин, стоявшие невдалеке от столов приказных, и взгляд этот сверкнул еще более, встретив в одной из этих кучек благообразного, видимо, измученного пыткой и поддерживаемого своими товарищами по несчастью, старика с седою, как лунь, бородою и кротким выражением голубых глаз, окруженных мелкими морщинками, но почти не потерявших свежести юности.

Эти две пары глаз, дышавших совершенно противоположными качествами, встретились, но взгляд старика не выразил гнева, а в нем скорее появился немой укор человеку, радующемуся его несчастью.

Этот старик был уже знакомый нам староста Плотницкого конца Великого Новгорода, Афанасий Афанасьевич Горбачев.

Связанный в одной кучке с остальными старостами, он ждал «царского суда», готовясь излить перед державным судьей всю боль своей измученной души, но с ужасом чувствуя, что физические силы его от перенесенных пыток все более и более слабеют.

Между тем, к столам дьяков и приказных подвели толпу связанных баб, числом более двадцати.

– Вот они, ведуньи-то, государь! – шепнул царю Малюта.

Иоанн бросил на них гневный взгляд, но тотчас же отвернулся. Царевич Иван в ужасе отвернулся еще ранее.

На самом деле, бледные, почти посинелые лица, дикое выражение глаз, свороченные в сторону, как бы в судороге, рты, включенные,

выбившиеся из-под повойников седые волосы, смоченные кровью, вывернутые в пытке руки, скрученные сзади, – в общем представляли ужасную, неподдающуюся описанию картину.

Подведенные к возвышению, несчастные бросились на колени всей толпой.

Их подняли за веревки.

Один из дьяков зычным голосом сделал перекличку по именам связанных женщин и задал общий вопрос:

– Как вы, забыв страх Божий, предались духу злобы и колдовством возбуждали народ к отложению от державного, законного царя...

Женщины закачали в ответ головами и замахали руками.

Григорий Лукьянович снова наклонился к государю:

– Вот и все так... машут руками, а слова не проронят ни единого.

Иоанн встал и гневно крикнул.

– Отвечайте!.. За упорство и заpiresательство – смерть!.. Говорю напоследок...

Женщины снова замахал руками и издали какой-то дикий стон, похожий на животный

вой.

– Ишь как нечистый-то в них воет! – заметил на ухо царю Малюта.

Нервная дрожь пробежала по телу присутствовавших, даже «поседелых в приказах» дьяков, а у многих бояр дыбом поднялись волосы.

Среди наступившей гробовой тишины раздался сильный голос Малюты, одного с кровавым восторгом созерцавшего эту сцену:

– Отвечайте или готовьтесь к смерти!

Еще более дикий вой был ответом на слова изверга.

Иоанн нетерпеливо махнул рукой.

Толпу женщин увели и на их место выдвинули другую, состоявшую из связанных священников и монахов.

Вновь началась переключка.

– Аз! – слышалось из толпы при произнесении каждого имени.

Допрос и этой толпы не привел ни к чему.

Все священники и монахи упорно отрицали, что покровительствовали колдовству и науцали баб предсказывать лучшие времена при перемене правления.

– Николи мы ничего не знали и не ведали... – хором отвечали они на расспросы дьяков.

– Вишь, государь, как осатанились они, упорствуют да и на поди, даже перед твоими царскими очами... – заметил Малюта.

Царь, удрученный результатом допроса ведуний, воочию разрушившим его горделивую мечту о том, что он, представитель власти от Бога, в торжественные минуты праведного суда, могучим словом своим, как глаголом божества, разрушающим чары, может дать силу воле разорвать узы языка, связанные нечистым, теперь пришел в уме своем к другому роковому для него решению, что «царь тоже человек и смертный», и эта мысль погрузила его душу в состояние тяжелого нравственного страдания.

Его совесть раскрыла перед ним длинный ряд поступков, несогласных с идеей правосудия, но допущенных им в минуты слабости.

Он тяжело дышал, глаза его налились кровью.

– Кайтесь!.. – громовым голосом воскликнул он.

– Помилосердуй, государь, ни в чем неповинны мы, холопы твои! – отвечали связанные, упавши на колени.

– Упорство... на правеж... – простонал уже Иоанн с пеной у рта...

– Всех на правеж?.. – полувопросительным, полурешающим тоном крикнул Григорий Лукьянович.

Царь встал с престола и зашатался.

Его поддержал с одной стороны царевич, а с другой Борис Годунов, стоявший рядом с креслом последнего.

У Иоанна в эту эпоху проявление ярости всегда влекло за собой ослабление, сопровождавшееся зачастую припадками, перед началами которых изверг Малюта искусно успевал испрашивать у царя самые жестокие приказания.

– Всех!.. – выкрикнул Иоанн, повторяя первые слова своего любимца и смолк, почти лишившись чувств, на руках бояр и опричников.

– Не изволишь ли, государь-родитель, мало-мальски отдохнуть... освежиться?.. – спросил отца царевич.

Царь не прекословил.

Шатаясь, поддерживаемый сыном и приближенными, он направился к саням.

– Всех на правож! – уже властным тоном повторения царева приказа снова крикнул Малюта, один оставшийся на возвышении после отъезда Иоанна.

Так ли истолковал он повторенное лишившимся чувств царем его слово?

Из сотен грудей связанных жертв вырвался тяжелый стонущий вздох, от которого не только дрогнули все присутствующие, но и сама земля и камни, казалось, повторили этот вздох, поднявшийся высоко к небесам, так как кругом никого не было, кроме мучителей.

Народ в ужасе разбежался.

Царь тоже не слышал этого вздоха, он уже входил в свои палаты.

Та же мысль о человеческой немощи, пришедшая к нему во время суда, тяжелым гнетом давила мозг Иоанна.

– Может ли устоять воля, даже укрепленная верою, перед началом зла, когда злу этому и я, помазанник Божий, против воли поддаюсь в мгновенья слабости? – продолжал он

развивать эту мысль.

Он прошел прямо в свою опочивальню.

– Укрепить и просветить этот мрак может лишь благодать... Испросим ее в молитве...

Самодержец в умилении повергся ниц перед иконами и стал горячо молиться.

Окончив продолжительную молитву, он раскрыл лежавшую на аналое божественную книгу, и взгляд его упал на слова: «Всякую шатающаяся языцы и люди научишася тщетным»!

Иоанн глубоко задумался.

Что могли значить эти слова в применении к настоящим обстоятельствам? Смысл оказывался двояким.

Между тем на Городище, по отъезде царя, вместо суда началась поголовная расправа.

Григорий Лукьянович, страдавший от боли в перевязанной левой руке, прихрамывая на правую ногу, на которой тоже еще на зажили полученные при Торжке раны, и, опираясь на кнут с толстым кнutowищем, как лютый зверь рыскал по улице, подстрекая палачей исполнять их гнусное дело...

Свист палок, перемешанный с неистовы-

ми криками жертв, висел в воздухе среди невозмутимой тишины мертвого города.

Таково было начало страшного новгородского правежа над будто бы осужденными царским решением.

Одним из первых, по приказанию Малюты и в его присутствии, схватили Афанасия Афанасьевича Горбачева.

– Не довольно еще тебя учили, старый пес, – обратился к нему царский любимец. – Все равно околеешь за изменное дело... Говори перед смертью, где сын мой?..

– Не ведаю, государь мой, не ведаю, и невдомек мне слова твои странные... Очами не видал никогда сына твоего и каков он с лица не ведаю, – слабым голосом отвечал страдалец.

– Не ведаешь... – злобно прошипел Григорий Лукьянович. – А зачем подсылал дочь свою окаянную в Александровскую слободу, к брату своему, такому же, как ты крамольнику... Не сносить и ему головы, я в том тебе порукою... И дочь твою, подлую прелестницу, на позор отдам людишкам своим, коли не скажешь мне истины, куда вы с злочестивцем

Пименом, попом треклятым, Максимку моего запрятали...

Голос Малюты порвался от ярости.

Удивленно глядел на него Афанасий Афанасьевич своими кроткими, уже потухающими глазами.

– Невдомек мне, милостивец, хоть убей в разум слов твоих взять не сумею, причем тут брат мой и дочь моя, смекнуть не могу, вот те Христос, боярин... В какой уж раз говорю тебе, сына твоего в глаза не видал и, есть ли такой на свете молодец, – не ведаю... А погубишь дочь мою, голубицу чистую, неповинную, грех тебе будет, незамолимый, а ей на небесах обитель Христова светлая...

– Ну так и дожидайся ее в этой светлой обители... не долго и поджидать придется... – злобно захохотал Григорий Лукьянович и сделал знак ратникам, вооруженным палками.

– Подновите-ка память этому старику, псу смердящему. Может, вспомнит он, что его дочь непутевая к братцу его гостить ездила да Максима моего привораживала, тоже, чай, не без его и дяди согласия и ведома; со мной, первым слугой царским, холоп подлый, по-

родниться захотел, ну-ка, породнись с кнутом моим.

Григорий Лукьянович со всего размаха ударил Горбачева по лицу кнутовищем.

– Получай!.. Сват непрошенный!

Афанасий Афанасьевич, ошеломленный ударом, обливаясь кровью, брызнувшей из рассеченной губы и носа, упал навзничь на землю.

– За дело, да живей доканчивайте! – крикнул Малюта опричникам. – Дочка его, что в невестки ко мне попасть норовила, коли кому из нас полюбится, так и быть, за работу наградой будет.

Григорий Лукьянович отошел. Палачи начали свою дикую расправу с почти уже и так бездыханным стариком.

Горбачев не издал ни малейшего стога. Он, казалось, от нравственной боли, не чувствовал физической. Мысли о роковой, предстоящей судьбе его дочери и брата жгли ему мозг гораздо сильнее, нежели палки, на которые рвавшие ему тело.

С такими мыслями он вскоре отдал Богу душу.

Мы видели, что Малюта исполнил относительно его дочери свою угрозу, и если бы Елена Афанасьевна не встретила случайно на Волховском мосту с Семеном Карасевым, то была бы утоплена вместе с сотнями других несчастных в кровавых, ледяных волнах Волхова.

На радость ли, впрочем, было ему и ей это спасение?

IV. Афанасий «Горбач»

Умерший смертью мученика под палками жестоких исполнителей воли изверга Малюты староста Плотницкого конца Великого Новгорода Афанасий Афанасьевич Горбачев, по народному прозвищу «Горбач», принадлежал, как мы уже имели случай заметить, к числу именитых и уважаемых граждан города и чуть не второй десяток лет служил «старостой».

Это выдающееся положение и это уважение были добыты не родовым торговым прошлым и не несметным богатством Горбачева: а исключительно его личными качествами, умом и приветливостью в обращении.

Древностью торгового рода он похвастаться не мог – его дед еще и не помышлял сделаться купцом, перебиваясь в Новгороде с хлеба на квас, как пришлый землекоп, – он был родом из Твери, прозванный в насмешку товарищами Горбачем, за свое прилежание к работе и постоянно сторбленное положение над киркой или лопатой.

Отсюда пошло фамильное прозвище «Гор-

бам», обратившееся впоследствии, с переменной обстоятельностью, в Горбачева.

Одному из подрядчиков полюбился молодой, прилежный и сметливый парень, и он, не долго думая, выдал за него свою единственную дочь и взял в свои помощники.

– Ишь, Терентий-то, – так звали молодого землекопа – докопался-таки до счастья! – говорили товарищи про своего молодого хозяина, иные со злобной, завистливой насмешкой, а другие лишь с присущим русскому человеку добродушным юмором.

Отец жены Терентия прожил после свадьбы дочери лет пять, и умер, оставив подрядное дело в руках опытного зятя, с прибавкой еще изрядного капиталъца.

Терентия Бог не благословил детьми: двое сыновей да дочь умерли в младенчестве, остался в живых лишь меньшенький сын Афоня, ставший с годами Афанасием Терентьевичем Горбачевым.

Уже отец его стал официально именовать-ся этим измененным прозвищем.

Афоня рос шустрым мальчиком, весь в отца, но, видимо, не имел склонности к отцов-

скому делу.

– Кем ты, Афоня, будешь? – спрашивали его, когда ему было года три-четыре, в шутку родные и знакомые.

– Купцом, торговать буду, – картавил мальчуган.

С годами эта склонность к торговле стала возрастать, и отец, видя призвание сына, отдал его на выучку к одному из своих приятелей – новгородских купцов, ведших торговлю хлебом, солью, кожами.

Скоро постиг сметливый мальчик не мудрую торговую науку того времени, самоучкой выучился грамоте и шестнадцати лет уже стал ходить в приказчиках.

Купец-хозяин был одинокий вдовец и жил с племянницей, дочерью его умершей любимой сестры, девушкой некрасивой, не первой молодости, но с доброй душой и нежным сердцем.

Последнее забило вскоре тревогу по молодом, статном приказчике, русом красавце, с лица, как поется в песнях, «кровь с молоком».

Афанасий Терентьев, в силу ли практической сметки или же в силу отзывчивости

сердца, не остался глух к исканиям перерезавшей девы, купеческой племянницы, единственной наследницы своего дяди, Елены Карповны.

В те времена женщины боярских родов жили замкнуто, среди купечества вообще, и особенно в Новгороде, стоявшем особняком среди городов русских по своим постоянным сношениям с «иноземщиной», нравы были много свободнее и девиц новгородских не прятали по теремам и под фатою.

Молодые люди и девицы встречались друг с другом и вели разговоры у ворот на заваленках, на улице и в домах, на «вечерках» и «беседах», как назывались в Новгороде такие сборища.

Молодые люди столковались, и Афанасий Терентьев обратился к своему отцу с просьбой заслать сватов к Федосею Иванову, как звали дядю Елены Карповой.

Сваты были посланы. Сватовство принято, и между отцом жениха и дядей невесты произошло рукобитье.

Невесту, как водится, пропили.

Вскоре сыграли и свадьбу, а через несколь-

ко лет отошел к праотцам и Федосей Иванов, оставив все свое обширное торговое дело своему зятю, Афанасию Терентьеву.

Видимо под одной «счастливой планидой» родились и отец, и сын Горбачевы – так одинакова была их счастливая судьба.

Умер вскоре и Терентий, ранее года за два потеряв свою жену, и Афанасий Терентьев, получив отцовское наследство, расширил еще более торговые обороты.

Дело Горбачева стало приобретать немалое значение и вес в новгородском торговом мире.

Годы шли. Афанасий Терентьев старился, но на подмогу ему и на поддержание торговли подросли двое сыновей: Афанасий, названный в честь отца, и Федосей, в честь дяди матери.

Жена Афанасия Терентьева не дождалась возмужания сыновей и умерла, когда Афоне шел одиннадцатый, а Федосею девятый год.

Отец стал приучать их с измальства к торговле, а когда они вошли в года и Афанасию пошел двадцать первый, а Федосею девятнадцатый год стал поручать им действовать са-

мостоятельно. Старший пристрастился к делу отца, а младший пожелал заняться другой торговлей, и отец открыл ему лавку с красным товаром.

По смерти отца братья разделили отцовский капитал по божески, и каждый занялся своим делом, сохранив друг к другу братскую привязанность, очень нередкую в ту далекую от нас эпоху, эпоху патриархального семейного быта.

Время последних дней видимо еще было далеко, и брат не восставал на брата и не таскал его по судам.

Такова несложная история братьев Горбачевых, – «крамольников», как назвал их Григорий Лукьянович.

Добавим, что Федосей Афанасьевич еще при жизни отца женился на красивой новгородской купеческой дочке Наталье Кузминой Роговой, и Бог благословил его большим потомством: пять дочерей и четыре сына мал мала меньше, почти все погодки, составляли семью Федосея Афанасьевича.

Вскоре после смерти отца он со всей семьей перебрался на жительство в Алексан-

дровскую слободу, оставив свою новгородскую лавку под зорким глазом старшего брата, так расширившего по своей части торговые обороты, что имя его гремело на всех иноземных рынках, а в Новгороде он стал «излюбленным гражданином».

Афанасий Афанасьевич оставался холостым, несмотря на то, что ему уже стукнуло сорок.

Отец не неволил сына в юности к женитьбе, не желая отвлекать его от дела, а в зрелом возрасте, видимо, он не сыскал себе по душе девушку, несмотря на то, что много новгородских маменек и дочек мечтали о таком завидном женихе и множество свах новгородских обивало пороги дома Афанасия Афанасьевича.

Да все приходили, видимо, невпопад «сороки долгохвостые», строгий хозяин им от ворот поворот честью делал.

Отстали длиннохвостые, но начали о нем по городу «сплетки» пущать, как о женихе.

– Обасурманился, матушка, совсем, – болтали они в купеческих домах, – в немецкой земле, бают, трех жен держит и все разно-

мастных, к ним все за море и шастает.

Афанасий Афанасьевич действительно по своим торговым делам не раз ездил в иностранные земли.

Уверились и маменьки и дочки в «басурманстве» Афанасия Афанасьевича, да и как не увериться, когда мужчина, в самой поре, новгородских красавиц белоснежных да пышных как чумы избегает.

На отцов, впрочем, пущенные свахами «сплетки» не действовали, они по-прежнему продолжали уважать Горбачева за честность, опытность, богатство и поддержку кредитом, всегда находимым ими у Афанасия Афанасьевича. Породниться с ним, конечно, никто бы из них не отказался, а из-за баб ссориться с всегда нужным человеком им было далеко не с руки.

– Не охоч он до баб, человек степенный, силком не окрутишь, а что про него бабы галдят, так их только послушай, и не такую сплетут околесицу, долгогривые; известно, у бабы волос долог, а ум с полвершка...

Так решили вопрос о женитьбе Афанасия Афанасьевича заинтересованные также в

этом вопросе купцы новгородские.

– Бобылем умрет, племянникам на радость... Эдакое золотое дело да уйму деньжищ оставит...

– Говорят, и любит же он брата Федосея, может, для племянников и не законится... – рассуждали купцы, сидя за шашками у притворов своих лавок.

Но Афанасию Афанасьевичу не суждено было умереть бобылем. Он женился, но женился при таких обстоятельствах, что эта женитьба не только не примирила его с новгородскими представителями прекрасного пола, но напротив, озлобила их до крайности. По крайней мере, несколько месяцев жены и дочери новгородских купцов только и толковали о женитьбе Горбачева на подкидыше.

Он действительно женился на подкидыше. Дело произошло следующим образом.

В 1543 году в Новгороде стояла лютая зима. Однажды Афанасий Афанасьевич, которому шел уже сороковой год, возвращаясь из своего лабаза под вечер домой, увидел сидевшую на пороге крыльца его дома совершенно законченную от холода худенькую девочку лет

одиннадцати, одетую в невозможные цветные лохмотья. По смуглому лицу и черным как смоль волосам безошибочно можно было сказать, что девочка – цыганка, отбившаяся от табора и заблудившаяся в городе.

При приближении к ней Горбачева девочка не шелохнулась.

– Что ты тут делаешь и как сюда попала? – задал он ей вопрос, который остался без ответа.

Он повторил его громче.

Девочка молчала.

Он тронул ее рукою за плечо. Она слабо качнулась в сторону. Видимо, она спала тем страшным сном замерзающего человека, от которого обыкновенно не просыпаются.

Афанасий Афанасьевич схватил ее на руки и внес в горницу.

Кликнув свою стряпуху Агафью, он отдал на ее попечение свою страшную находку.

Стряпуха Агафья Тихоновна была молодая тридцатилетняя женщина, жена одного из приказчиков Горбачева.

Увидев замерзшую девочку, она так и ахнула.

– Ишь, сердечная, ознобилась, совсем ознобилась, уж жива ли?.. Кажись, цыганка! – взяла она на руки окоченевшего ребенка.

– Выходи ее, Агафьюшка, ведь душа-то человеческая! – заметил Афанасий Афанасьевич, поняв восклицание: «кажись цыганка» в смысле пренебрежения к этому племени.

– Знамо дело человечья... Я говорю цыганка, потому такая черная, а то ведь и они крест носят, – отвечала добрая женщина.

– Перво-наперво ее я теперь в сенцах снегом ототру от испарины, а там в теплую горницу внесу, а то она сразу в тепле-то не отойдет, непременно снегом растереть надо...

Агафья вопросительно посмотрела на Афанасия Афанасьевича.

– Делай как знаешь, только от смерти ее вызволь... Отец и мать, чай, есть, убиваются, искать будут.

Горбачев прошел в свою опочивальню.

На утро первый вопрос его, обращенный к Агафье, был о найденной им девочке.

– Отдохла, как снегом ее я вечер потерла, да в тепло внесла, глазки открыла, на постели, на моей, а потом опять заснула, роднень-

кая, и вся в испарине, в рубаху я ее в свою завернула, так ночью меняла, хоть выжми. А теперича, на рассвете, встала, сбитню попила, лопочет. Сказала, что зовут ее Аленой, на шее крестик деревянный висит, махонький...

Афанасий Афанасьевич вышел в кухню.

– Поди к дяде, ручку поцелуй, без него бы ты давно уже на том свете была, – наставительно сказала Агафья.

Девочка, не торопясь, слезла с лавки, на которой сидела, и, не робея, подошла к Горбачеву и поцеловала ему руку.

– Как зовут? – спросил последний, целуя девочку в лоб.

– Алена!

– А по отцу?

– Отца Афанасием кликали... только его телегой зашибло, – отвечала девочка.

– Помер?

– Помер, летошный год еще помер.

– Из табора?

– Стояли мы табором здесь под городом, да вечер ушли.

– А мамка?

– И мамка ушла... Посадила меня на

крыльцо и говорит, сиди здесь... мне тебя кормить нечем... и ушла.

– Ну, может, мамка так малость ненароком тебя попугала... вернется, – утешил девочку Афанасий Афанасьевич.

– Нет... не вернется... она меня все била, – проговорила девочка. – И Иван Климов все бил...

– Кто же это Иван Климов?..

– А мамкин муж.

Из этих несложных ответов одиннадцатилетней девочки для каждого становилась ясна страшная драма, разыгравшаяся в жизни ее матери, решившейся для любимого человека бросить на произвол судьбы свое родное детище, и что еще хуже, решившей озлобить это детище против себя.

– А не придет, так и здесь проживешь, в другорядь не замерзнешь! – успокоил Горбачев девочку, с немою мольбою смотревшую на своего спасителя.

Аленушка бросилась снова целовать руку Афанасия Афанасьевича.

Он почувствовал, что на его руку закапало что-то горячее.

Это были слезы благодарного ребенка.

Агафью Тихоновну тоже в слезы ударило от этой сцены, и она стала обтирать рукавом сорочки глаза.

Горбачев тоже смигнул с ресницы непрошеную слезу и, погладив девочку по головке, быстро вышел из дома.

Прошел год. Предчувствия девочки оправдались, мать не вернулась за нею, и она осталась жить в доме Афанасия Афанасьевича Горбачева. Агафья Тихоновна привязалась к ней, как родная мать, особенно после смерти своего мужа, случившейся через несколько месяцев после появления в доме Горбачева Аленушки.

Муж Агафьи, надорвавшись при переноске кулей, умер «от живота».

Афанасий Афанасьевич заявил ей, что она может быть покойна за свою дальнейшую будущность, так как он не отпустит ее до самой своей смерти и не забудет в своей последней воле.

– Береги только Аленушку! – заключил он.

– И, батюшка, да я ее за родное детище свое почитаю и без слова твоего пуще глаза бере-

гу... – ответила растроганная Агафья.

Горбачев сам не на шутку привязался к девочке, внесшей оживление в его скучную, одинокую жизнь.

Аленушка тоже почти боготворила его.

Он сам стал исподволь шутя учить ее грамоте, и она вскоре сделала такие успехи, что превзошла своего учителя.

Годы шли.

Угловатое сложение развивающейся девушки скоро сменилось пышными формами красавицы, высокой, стройной, с роскошной косой, с густыми дугообразными бровями, жгучим взглядом черных глаз и нежным пушком, пробивающимся сквозь румянец смуглых щек.

Афанасий Афанасьевич не сразу заметил эту перемену в своей питомице, как это всегда бывает относительно тех, кого мы видим ежедневно.

Но раз заметивши, он вдруг почувствовал в своем сердце нечто совсем иное, чем то, что называется отцовской любовью.

Первое время это только ужаснуло его. Он – старик, загубит молодую жизнь. Разве

Аленушка может любить его иною любовью, как только любовью дочери? На этот вопрос он с болью сердца отвечал сам себе отрицательно.

Он стал отдаляться от девушки. Последняя, видимо, заметила это и удвоила свои ласки, думая, что чем-нибудь огорчила дорогого дядю.

Эти ласки ножами резали бедное сердце Горбачева.

Он начал входить сам с собою в некоторое соглашение. Да какой он еще старик! Ему всего сорок седьмой год. Он свеж и здоров, ни на голове, ни в бороде еще нет ни одного седого волоса. Чем я не муж Аленушке?

Наконец он решился высказать Агафье свою затаенную мысль.

– Да неужели, родимый, и впрямь осчастливить Аленушку захотел? – радостно воскликнула последняя.

Горбачев понял, что нашел в Агафье союзницу.

– Осчастливить! – улыбнулся он. – Да сочтет ли она это за счастье? Тоже неволя идти за старого.

– За старого? – даже всплеснула руками

Агафья. – Это ты-то, батюшка, старый!.. Не греши, родимый, десять молодых за пояс заткнешь... вот ты какой старый. Да уж и любит она тебя, как отца родного...

– То-то же, как отца... – грустно молвил Афанасий Афанасьевич.

Агафья спохватилась.

– И как мужа полюбит... как Бог свят полюбит... Да дозволю я ее поспрошаю...

– Пospрошай...

Агафья Тихоновна «пospрошала», и сватовство ее оказалось вполне удачным.

Это было в декабре 1549 года, а в январе 1550 состоялась свадьба Аленушки с ее приемным отцом Афанасием Горбачевым, свадьба, наделавшая, как мы уже заметили, переполох среди новгородских кумушек.

– Связался черт с младенцем... – судили и рядили они. – Цыганское отродье узаконил... девчонку... Уж рубил бы дерево по себе, взял бы вдовицу какую честную... а то наподи, с приемной дочерью обвенчался. Басурман, уж подлинно басурман... Не даст ему Бог счастья!..

В силу роковой случайности, последнее

предсказание злобных женских языков
оправдалось на деле.

V. Без матери

Слишком полно, но, увы, и слишком коротко было счастье новобрачных.

Прошел год с небольшим жизни, полной того нежащего и тело, и душу семейного покоя, жизни, которая редко выпадала для супружеских пар и того, более чем на три столетия отдаленного от нас времени, и с которой уже почти совершенно незнакомы современные супружеские пары.

Этот покой дается лишь чистой, освященной церковью взаимной любовью, прямой и открытой, без трепета тайны, без страха огласки и людского суда – это тот покой, который так образно, так кратко и вместе так красноречиво выражен апостольскими правилами: «Жены, повинуйтесь мужьям своим», «мужья, любите своих жен, как собственное тело, так как никто не возненавидит свое тело, но питает и греет его».

Только под солнцем согревающей любви мужа может возрасти тот пышный, редкий и роскошный цветок, который называется любящей и покорной женою.

Такою именно женою и стала Елена Афанасьевна, вышедши замуж за своего приемного отца, Афанасия Афанасьевича Горбачева.

Но, повторяем, не долго владел счастливым муж таким сокровищем. Она предупредила правду слов какого-то старинного, давно забытого поэта:

*«Прекрасное все гибнет в дивном
цвете,
Нет ничего прекрасного на све-
те!».*

Елена Афанасьевна действительно погибла «в дивном цвете».

С открывшегося горизонта счастья Горбачева вдруг раздался грозный громовой удар именно тогда, когда на этом горизонте, казалось, не могло зародиться ни одного облачка, а напротив, сияла заря чудной надежды.

Он готовился быть отцом.

Эта надежда осуществилась, но вместе с криком ребенка – девочки, криком, возвестившим о новой зажегшейся жизни, раздался болезненный, стонущий вздох матери – вестник жизни угасшей.

Это был последний вздох.

Елены Афанасьевны Горбачевой не стало.

У постели умершей матери и колыбели новорожденного младенца рыдал неутешный вдовец.

Казалось, укор небесам готов был сорваться с его уст среди этих рыданий, так неожиданно, так, казалось, безжалостно было разбито его счастье, была разбита его жизнь. Как контраст, в эту горькую минуту почти нечеловеческой скорби припомнился Афанасию Афанасьевичу еще тот недавний вечер – всего несколько месяцев тому назад – когда он, вернувшись из лабаза домой, остался наедине со своей ненаглядной Аленушкой, той самой Аленушкой, которая теперь бездыханным трупом лежит перед ним, а тогда сияла красотой, здоровьем и счастьем.

Как живо помнит он это, как вишня раскрасневшееся, прекрасное лицо, эти полузакрытые длинными ресницами жгучие глаза, с блестящей на них радостной слезой, и эти коралловые губки, прошептавшие ему отрадные, теперь ставшие роковыми слова о своем материнстве.

Он помнит, как сильно забилося тогда его

сердце, как нежно прижал он к своей груди трепещущую, сконфуженную признанием жену.

Мелькают в его памяти незабвенные дни ожидания этого самого существа, спящего сном невинности в колыбели, которому суждено было своей жизнью отнять жизнь матери, и снова чуть было слова упрека судьбе не сорвались с языка Горбачева и чуть не окинул он взглядом ненависти и вражды это маленькое, красненькое, сморщенное существо, причинившее ему такое великое горе.

Но взгляд упал на колыбель и как бы чудом изменился – это был взгляд отца. Что-то теплое и сладостное зашевелилось в душе Афанасия Афанасьевича, и он в тихой горячей молитве опустил перед божницей.

В ней и в проснувшемся отцовском чувстве нашел он силу перенести страшную утрату.

Укор небесам замер на его устах и заменился словами полной покорности Провидению.

С пышностью, соответствующей любви и богатству мужа, совершены были похороны

жены, так безвременно покинувшей этот мир юдоли и слез.

На кладбище одного из богатых монастырей новгородских до сих пор есть, близь церкви, вросшая уже в землю и покрытая мохом каменная плита с надписью о почивающей под ней возлюбленной жены новгородского купца, Елены Афанасьевны Горбачевой. Надпись еще уцелела, но находившийся над ней текст из священного писания стерла всеограшающая рука времени.

В несколько дней после смерти жены Горбачев так страшно изменился, что знакомые с трудом узнавали его. Из бодрого, крепкого мужчины он обратился вдруг в какого-то расслабленного старика, с помутившимся взглядом и поседевшими волосами.

В течение нескольких месяцев он почти не занимался делами и ни с кем не разговаривал.

Но время взяло свое. Острая боль пораженного сердца притупилась.

Первая улыбка трехмесячной Аленушки, — девочку окрестили в честь матери Еленой, — вызвала улыбку и на исхудалое лицо несчаст-

ного Афанасия Афанасьевича.

С этого дня он заметно оживился и стал поправляться физически; сознательность ребенка породила у отца гордое сознание того, что он не одинок, что у него есть для кого жить, для кого трудиться.

Время шло, Аленушка подрастала на руках у Агафьи Тихоновны.

Добрая женщина, горько оплакивавшая свою первую питомицу Аленушку, перенесла, подобно отцу, всю свою горячую, почти материнскую любовь к умершей матери на полусиротевшую дочь. Она берегла ее пуце глазу и, казалось, жила и дышала только ею.

И для Горбачева настали сравнительно красные дни. Первый лепет ребенка чудной гармонией врывается в его душу и как бы лил в его тело живительный бальзам. Первые слабые шаги дочери укрепили, казалось, совершенно силы отца для дальнейшего жизненного пути.

Таков неисповедимый закон природы, такова благая воля Господня, дающая маленьким, слабым существам великую силу врачевать скорбные раны взрослых и сильных.

Аленушке шел уже седьмой год, когда отец первый раз повел ее на могилу ее матери.

До тех пор ходила она туда с Агафьей, которая скорее голосом сердца, нежели языка, сумела внушить ребенку любовь к покойной матери, и благоговение перед ее памятью.

Афанасий Афанасьевич, еженедельно посещая могилу своей жены, любил быть там в полном одиночестве; даже присутствие дочери, казалось ему, нарушило бы ту душевную гармонию молитвы об упокоении души дорогой для него женщины в селениях праведных.

Он и не догадывался, что под влиянием Агафьи Тихоновны, в сердце его дочери уже давно и глубоко укрепилось чувство любви к покойной, и что на могиле ее он может смешать свои горькие слезы мужа с чистыми слезами любящей дочери.

В одно из воскресений, после обедни в том самом монастыре, где была похоронена Елена Афанасьевна и куда неукоснительно ездили Афанасий Афанасьевич и Агафья с Аленушкой, последняя, видя, что отец направляется из церкви не к ожидавшей их за оградой повозке, куда ведет ее няня, вдруг стремительно

схватила его за рукав и тоном мольбы сказала:

– К маме!

Горбачев остановился в недоумении.

– К маме... ты хочешь к маме?.. – переспросил он дрожащим от внутреннего волнения голосом.

– Хочу к маме... – прошептала девочка.

– Пойдем... милая дочка... пойдем... веди меня к... маме... – взял он Аленушку за руку.

Девочка твердой, уверенной поступью пошла по направлению к кладбищу, крепко держа за руку своего отца. Агафья Тихоновна с неммым восторгом и со слезами радости на глазах созерцала удалявшуюся от нее парочку, и, когда они скрылись на повороте дорожки за палисадниками, вознесла очи к безоблачному июльскому небу, на котором, как бы сочувствуя ее радости, весело играло полуденное солнышко.

Аленушка привела Афанасия Афанасьевича прямо к надгробной плите своей матери и, оставив его руку, набожно опустилась на колени.

Отец пал ниц рядом с дочерью.

Горяча была его молитва. Окончив ее, он взглянул на Аленушку, и из глаз его ручьями брызнули слезы, это были слезы восторженного обожания, появившегося в его сердце к молящейся дочери.

Да и на самом деле, надо было видеть эту шепчущую молитву девочку со сложенными на груди руками, чтобы воочию узреть ангела, молящегося перед престолом Бога.

И странное дело, только теперь, при взгляде на дочь, Горбачев почувствовал и понял, что она живой портрет ее матери, что милосердный Господь возвратил ему то, что было для него, казалось, потеряно навсегда, возвратил ту Аленушку, которую он нашел замерзшей пятнадцать лет тому назад на крыльце своего дома.

С немой, невыразимой словами благодарностью возвел он очи к ликующим словно по поводу его счастья небесам.

Этот день для него стал началом новой счастливой жизни. Он вернулся домой совершенно обновленный и с юношеской энергией принялся на другой день за дела.

Все свое свободное время он с этих пор

стал посвящать своей дочери; шутя, учил ее грамоте, в которой она делала быстрые успехи, а между занятиями беседовал, как с большой, о ее покойной матери.

Девочка любила эти беседы и по целым часам не спускала глаз с боготворимого ею отца.

В то время семьи жили замкнутой жизнью.

Афанасий Афанасьевич и его дочь виделись часто и запросто лишь с семьей его брата, Федосея Афанасьевича, где младшая дочь Настя, старше, однако, Аленушки года на два, была подругой детских игр последней.

Обеих девочек, впрочем, редко можно было видеть играющими. Они по часам сидели, прижавшись друг к другу в уголку детской, и о чем-то шептались.

В чем состояла их беседа, над чем работали их детские умы – как знать?

Кто может прямо взглянуть на солнце, кто может проникнуть в чистую детскую душу ребенку?

Время шло.

Наступил 1565 год. До Новгорода донеслась роковая весть, облетевшая с быстротою мол-

нии все русское государство: царь оставил Москву на произвол судьбы и удалился в Александровскую слободу. Пришло известие об учреждении неведомой еще опричнины, а затем из уст в уста стало переходить грозное имя Малюты, уже окруженное ореолом крови и стонов.

Матери новгородские стали пугать им своих детей, и последние делались тихи при произнесении рокового имени.

Аленушке, ставшей теперь уже Еленой Афанасьевной, исполнилось шестнадцать лет.

Она вышла из детства, но имя Малюты почему-то вызывало в ней нервный трепет.

Не было ли это инстинктивной чуткостью, инстинктивным предвидением будущего?

Прошел еще год. Царь основал свою постоянную резиденцию в Александровской слободе, которая в короткое время обратилась в город с бойкой торговлей, и туда стали стекаться со всех сторон земли русской купцы со своими товарами, строить дома и открывать лавки.

Предприимчивый Федосей Афанасьевич

Горбачев был тоже увлечен возникшим течением, и, даже вопреки советам своего старшего брата, переселился, как мы уже знаем, в Александровскую слободу, оставив новгородские лавки на попечение Афанасия Афанасьевича и своего старшего сына.

Всю остальную семью он забрал с собою.

– Чует мое сердце, что задумал ты покинуть Новгород не в добрый час, не наживи, смотри, беды неминуемой; тоже надо ой с какой опаской быть близ грозного царя... И с чего тебе прыгать с места на место приспичило?.. Знаешь пословицу, «от добра добра не ищут», – говорил брату Афанасий Афанасьевич, когда тот высказал ему свою мысль о переезде.

– Ну, это ты, брат, оставь, я тебе тоже отвечаю пословицей: «под лежащий камень и вода не бежит»... Сам знаешь, какие ноне здесь барыши с красного товара, тебе ништо... у тебя хлеб... животы подведет, к тебе придут спервоначалу, а не ко мне...

– Это-то ты правильно, – согласился старший брат, – только возле царя-то там как будто боязно; слышал, чай, ни весть что расска-

зывают... и Малюта там, слышь, правую царскою рукою...

– Я не пужлив... Да и сплетки, чай, больше плетут людские языки... Людская молва, что снежный ком, с кулак начнется, до нас докатится гора горой, – ответил Федосей Афанасьевич.

– Нет дыма без огня, – задумчиво заметил Афанасий Афанасьевич.

– Чего огня, я разве говорю, что огня нет... Есть... Царь казнит бояр-своевольников... и ништо... так им и надо. Слышь, выше царя стать захотели, ему, батюшке, указывать начали... раздор да разлад по земле сеять вздумали, с врагами, басурманами заяшкались, так ништо, говорю им, окаянным... А купечеству и народу люб его грозный царь... Знает он, родимый, что только кликни он клич, своеручно посечем его супротивников, бояр-крамольников... и посечем не хуже опричников, не хуже Малюты Скуратова, – горячо возразил младший брат.

– Известно посечем... Это ты доподлинно, – согласился старший.

– Так с чего же нам его, государя нашего,

державного, бояться?..

– Вестимо нечего.

– А к солнцу ближе – теплее!.. Он наше солнышко...

Афанасий Афанасьевич не нашелся что возразить брату.

Отъезд последнего был решен и состоялся.

Расставание семей было трогательно, но сильнее всех рыдала Аленушка на груди своей двоюродной сестры и задушевной единственной подруги Насти.

Это было первое жизненное горе молодой девушки.

Беседы с отцом по вечерам, чтение священных книг, да молитва стали задушевной отрадой вновь осиротевшей девушки.

Ей шел уже восемнадцатый год. Она была, что называется, в самой поре, но сердце ее билось ровно при виде добрых молодцев, хотя ее жгучие, черные глаза ясно говорили, что рано или поздно в этом сердце вспыхнет страсть неугасимым огнем.

Красивая, статная, вся в свою покойную мать, она зажгла желанием не одно сердце среди новгородских молодцов.

Женихам только бы кликнуть клич, слетелись бы как мухи на мед, но отец не неволил боготворимую им дочку; даже при мысли о ее замужестве какое-то горькое чувство отцовской ревности закипало в его сердце.

Со дня отъезда брата прошло с полгода. От него получилась грамотка. В ней он в радужных красках описывал свое житье-бытье на новом месте. Торговля, по его словам, шла очень ходко, к дочерям женихи наклевываются от тамошнего купечества, словом, Федосей Афанасьевич был доволен. Далее он описывал построенный им дом, писал о своем здоровье и о своих домашних. «Настасья все скучает и убивается по Аленушке; говорит, хоть бы одним глазком поглядеть на родненькую, так не отпустишь ли, любезный брат, погостить ее к нам, сбережем пуще родной дочери», – говорилось, между прочим, в присланной грамотке.

Афанасий Афанасьевич прочел письмо Аленушке.

При чтении того места, где говорилось о Насте, он взглянул на дочь.

На ее глазах блестели слезы.

– Аль отпустить на месяц, другой... поску-
чать мне, старику, – уронил как бы про себя
Горбачев, окончив чтение.

Огнем вспыхнуло лицо Аленушки, и умо-
ляющий взгляд ее прекрасных глаз говорил
красноречивее всяких слов о ее желании.

Отец сдался на эту немую просьбу.

Сборы были не долги. Аленушка с Агафьей
и с провожатыми из рабочих Горбачева уеха-
ли в Александровскую слободу.

Посещение слободы оказалось роковым
для молодой девушки.

Там ей было суждено встретиться с Семе-
ном Ивановичем Карасевым, сумевшим зарю-
нить в сердце красавицы ту искру неведомого
ей доселе чувства, от которого это сердце за-
горелось неугасимым пламенем любви.

VI. В Александровской слободе

Александровская слобода отстояла от Москвы в восемнадцать и от Троицкой лавры в двадцати верстах.

Эта тогдашняя столица грозного царя была окружена со всех сторон заставами с воинской стражей, состоявшей из рядовых опричников, а самый внешний вид жилища Иоанна, с окружавшими его постройками, по дошедшим до нас показаниям очевидцев, был великолепен, особенно при солнечном освещении.

Мы можем описывать это место кровавых исторических драм только по оставшимся описаниям современников, так как в наши дни от Александровской слободы не осталось и следа. По народному преданию, в одну суровую зиму над ней вошла черная туча, спустилась над самым дворцом и разразилась громовым ударом, от которого загорелись терема, а за ними и вся слобода сделалась жертвою всепожирающего пламени.

Поднявшийся через несколько дней сильный ветер разнес по сторонам даже пепел, оставшийся от сгоревших дотла построек.

Опишем, хотя бы вкратце, со слов современников, это, к сожалению, до нас не сохранившееся чудо зодчества того времени.

Дворец, или «монастырь», как именуют его летописцы, был огромным зданием причудливой архитектуры; ни одно окно, ни одна колонна не походила друг на друга ни формой, ни узором, ни цветом. Великое множество теремов и башенок с разнообразными главами венчали здание, пестревшее в глазах всеми цветами радуги.

Крыши и купола, или главы теремов и башенок, были из разноцветных изразцов или золотой и серебряной чешуи, а ярко размалеванные стены довершали своеобразие внешнего вида этого оригинального жилища не менее оригинального царя-монаха.

На «монастырском дворе», который был окружен высокой стеной, с многочисленными отверстиями разной формы и величины, понаделанными в ней «для красоты ради», помещались три избы, мыльня, погреб и лед-

НИК.

Стена была окружена «заметом», то есть валом и глубоким рвом.

В самой слободе находилось стоявшее недалеко от дворца здание печатного двора со словолитней и избами для мастеров-печатников.

Затем тянулись дворцовые службы, где жили ключники, подключники, хлебники, сытники, псари, сокольничьи и другие дворцовые люди.

Слободские церкви с ярко горевшими крестами высились вблизи дворца. Стены их были тоже расписаны яркими красками.

Особенным великолепием и богатством отличался храм Богоматери, на каждом кирпиче которого блестел золотой крест, что придавало ему вид громадной золотой клетки.

В слободе в описываемое нами время было уже множество каменных домов, лавок и лавазов с русскими и заморскими товарами — словом, в два года пребывания в ней государя она необычайно разрослась, обстроилась и стала оживленным городком.

Придворные, государственные и воинские чины жили в особенных домах, опричники имели свою улицу вблизи дворца, купцы тоже.

На последней один из лучших двухэтажных домов, с помещавшимися в нижнем этаже обширными лавками, с панским и красным товаром, принадлежал новгородскому купцу Федосею Афанасьевичу Горбачеву.

Сюда-то и прибыла гостить его племянница Елена Афанасьевна.

Но прежде нежели мы проникнем в это временное жилище нашей героини, перенесемся с тобой, дорогой читатель, во дворец, внутренняя жизнь которого была так же своеобразна, как и его внешность.

Вот так, по свидетельству чужеземцев-современников, описывает ее наш великий историк Карамзин:

«В сем грозно-увеселительном жилище Иоанн посвящал большую часть времени церковной службе, чтобы непрестанной деятельностью успокоить душу. Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих в иноков: выбрал из опричников три-

ста человек, самых злейших, назвал их братиею, себя игуменом, князя Афанасия Вяземского келарем, Малюту Скуратова параклисиархом; дал им тафьи, или скуфейки, и черные рясы, под коими носили они богатые, золотые, блестящие кафтаны; сочинил для них устав монашеский и служил примером в исполнении оногo. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоаннову: в четвертом часу утра он ходил на колокольню с царевичами и Малютой Скуратовым благовестить к заутрени; братия спешила в церковь: кто не являлся, того наказывали восьмидневным заключением. Служба продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов. В восемь часов опять собирались к обедне, а в десять садились за братскую трапезу все, кроме Иоанна, который, стоя, читал вслух душеспасительные наставления. Между тем, братия ела и пила до сыта; всякий день казался праздником: не жалели ни вина, ни меду; остатки трапезы выносили из дворца на площадь для бедных. Игумен, то есть царь, обе-

дал после, беседовал с любимцами о законе, дремал или ехал в темницу пытать какого-нибудь несчастного. В восемь часов шли к вечерне, в десятом обыкновенно царь уходил в спальню, где трое слепых рассказывали ему сказки; он засыпал, но ненадолго: в полночь вставал и день его начинался молитвою».

Был десятый час чудесного июльского вечера 1568 года. Царь уже вошел в свою опочивальню, молодые опричники разбрелись по обширному дворцовому двору.

Большинство из них начали играть в свайку, иные собрались отдельными кучками, и лишь два из них ходили, обнявшись, в стороне, видимо намеренно держась в отдалении от своих товарищей.

Эти два еще совершенно юных опричника были – Максим Григорьевич Скуратов и уже знакомый нам царский стремянной Семен Иванович Карасев.

Наружность последнего нами уже описана, а потому не будем повторяться.

Первый же был одинаков с ним по росту, фигуре и сложению, и лишь волосы на голове, на маленькой бородке и усах были немно-

го темнее, и в правильных чертах лица было более женственности. Глаза у Максима Григорьевича были светло-карие, с честным, почти детски невинным взглядом.

Он совершенно не казался сыном своего отца, с отталкивающей наружностью которого мы тоже уже познакомили читателя, он был весь в мать, забитую, болезненную, преждевременно состарившуюся женщину, с кротким выражением худенького, сморщенного лица, в чертах которого сохранились следы былой красоты.

Он был любимцем не только матери и сестер – их у него было две, – но и всей дворни. Любил его и отец, на него возлагал он все свои самолюбивые надежды на продолжение рода Скуратовых, не нынче-завтра бояр.

Мечта о боярстве не оставляла Малюту.

Сан боярский был издавна высокою степенью в государстве. Григорий Лукьянович был честолюбив и страстно добивался его, но Иоанн не возводил своего любимца в эту степень, как бы уважая древний обычай и не считая его достойным носить этот верховный сан.

Получение боярства было, таким образом, заветной, но пока недостижимой мечтой Мамлюты Скуратова.

Царь тоже любил Максима, часто по-детски дававшего прямые ответы, и жаловал его по-царски.

Семен Иванович тоже был любимец царя, но этим он был обязан не родству между опричниками, а своим личным качествам.

Карасев был сиротою и служил за Рязанью в Зашатском острожке, когда в Переяславль явился московский воевода за сбором опричников.

Жизнь и служба в острожках, как именовались крепостцы того времени, окруженные рвом и валом и служившие оплотом против нашествия кочующих орд, были тяжелы и скучны, и Карасев, не долго думая, записался в опричники, чтобы только попасть в Москву, хорошенько и не зная род и обязанности этой кровавой службы.

Узнавши ближе своих товарищей, он, по своей честной и прямой натуре, отшатнулся от них и сблизился с Максимом Скуратовым, тоже отдалявшимся от своих буйных и нераз-

борчивых в средствах к достижению желаний товарищей.

Сближение между сынов любимца государя и простым опричником-ратником произошло, впрочем, после случайного повышения последнего по службе и назначения его в царские стремянные.

Случилось это повышение следующим образом.

Семен Карасев отличался необычайной смелостью и отвагой и страстью к охоте за дикими зверями.

Царь тоже любил охоту и звериные потехи, для которых около главного царского крыльца было даже отведено место, огороженное надолбами и обтянутое канатом.

На крыльцо выносилось кресло для царя и начиналась потешная травля, для которой зачастую брали медведей от вожаков, в то время сотнями водивших ученых медведей по городам и селам.

Травили зверей между собой; но раз донесли царю, что опричник Семен Карась вызывается один потешиться со зверями.

Царь, соскучившись однообразием слобод-

ских удовольствий, радостно ухватился за эту мысль, и назначил новую потеху на Покров.

Это было в начале сентября 1566 года.

Праздник Покрова удался в этот год на славу. Лето и осень в том году были замечательно теплы, и легкая прохолодь в воздухе к полудню стала менее заметною при наступлении полного затишья.

Обычный полуденный сон прервали в слободе на этот раз в два часа звоном колокола. Государь не замедлил выйти из палат и сел на свое место на крыльце. Зурны и накры[1] грянули в лад, и звери, спущенные жожаками, пустились в пляс.

Мгновение – и, размахивая шелковой золотошвейной ширинкой, выскочил в красном кафтане весь бледный Карась и принялся вертеться и заигрывать со зверями под усиленный гул зурн и гудков.

Вот он, оживившись и пришедши в дикое исступление, начал крутить и повертывать зверей, рык которых, казалось, производил на него подстрекающее действие, умножая беззаветную отвагу.

Движения в поднятой зверьми пыли и

подскоки человека, крутящегося в общей пляске, обратились наконец в какое-то наваждение, приковывая неотводно глаза зрителей к кругу, откуда раздавались дикие звуки и виднелось мелькание то красных, то бурых пятен.

Зурны и накры дули в перемежку, а из круга зверей раздавался бросающий в дрожь не то шип змеиный, не то свист соловьиный, то усиливаясь, то дробясь и исчезая, как бы теряясь в пространстве.

Время как будто бы остановилось. Оно казалось одной минутой и вместе с тем целой вечностью от полноты ощущения, не выразимого словами.

Удар колокола к вечерне был как бы громовым ударом, рассеявшим чары.

Царь встал, улыбающийся, довольный.

Лица опричников тоже сияли отчасти от полученного удовольствия, отчасти в угоду царю.

Царь подозвал к себе Семена Карасева.

– Исполать тебе, детинушка!.. Показал ты нам этакую хитрость-досужество, каких с роду люди не видывали, опричь твоего дела...

Жалую тебе моей царской милостью, отныне будешь ты стремянным моим.

Царь протянул руку Карасеву.

Тот трепетно прикоснулся губами к царевой руке.

Среди опричников пронесся завистливый гул.

Так произошло повышение Семена Карасева.

Вскоре так случайно возвысившийся опричник сошелся с сыном Малюты.

Вернемся ж, читатель, к этим друзьям, расхаживавшим, обнявшись по дворцовому двору в июльский вечер 1568 года.

– Так ты говоришь очень она хороша? – спрашивал шепотом Семен Иванович Михаила Григорьевича.

– И не говори; так хороша, как ясный день; косы русые до колен, бела как сахар, щеки румянцем горят... глаза небесно-голубые, за взгляд один можно жизнь отдать... Да ужли же ты не встречал ее на Купеческой улице...

– Может, и встречал... – небрежно уронил Семен Иванович, – да ты знаешь, не охоч я до девок, да до баб...

– Знаю, знаю, ты у нас красная девушка, но погоди, придет и твой черед... Я тоже самое не охоч был... да сгубила меня теперь красная девица... и днем наяву, и ночью во сне... все передо мной стоит она, ненаглядная...

– Да кто она, ты не сказал, да и мне невдомек спросить было...

– Разве не сказал я тебе... Федосея Афанасьевича Горбачева дочь... Настя... Настасья Федосеевна... – поправился Максим Григорьевич.

– Тебе-то как довелось с ней познакомиться?.. – спросил Карасев.

– Я с ней не знаком, со стариком отцом сошелся, полюбил он меня, а ее так мельком видал, поклонами обмениваемся... – со вздохом произнес Скуратов.

– Что же зеваешь... сватай... а то как раз за какого-нибудь купчину сиволапого замуж выйдет.

– Хорошо тебе говорить сватай... Во-первых, отец на дыбы встанет, ведь он все боярством бредит... да на него бы не посмотрел я... но не отдадут за меня, да и сама не пойдет...

– Это за тебя-то? – даже воззрился на него

Семен Иванович.

– Да, за меня... за сына Малюты... – с горечью произнес Максим Григорьевич.

Карасев посмотрел на друга, но не ответил ничего.

Наступило минутное неловкое молчание.

Первый прервал его Карасев.

– Покажи мне все же твою красавицу-то...

– Изволь, не потаю... мне все равно не видать ее как своих ушей...

– Да ты что это... я отбивать не стану... не бойся...

– Не прогневайся, это я так, к слову... Слышал я, что к Федосею Афанасьевичу племянница из Новгорода гостить прикатила, подруга задушевная моей-то зазнобушки, то вот, бают, красавица-то писанная... Смотри, как увидишь, как раз до баб охоч станешь.

– Ну, это навряд... Меня-то скоро не проберешь... – усмехнулся Семен Иванович.

– Смотри, не зарекайся... я тоже, брат, так думал, да вот...

Максим Григорьевич не закончил и переменял разговор.

– Так завтра и пойдем к Горбачеву... благо

воскресенье... после обедни к нему и нагреем... Ладно?

– Ладно!

– А теперь и поздниться стало... по домам пора.

Друзья расстались.

Летние сумерки стали сгущаться.

Расставшись со своим другом, Семен Иванович долго ходил по опустелому двору.

Рой тревожных мыслей теснился в его голове.

Он чувствовал, что был не искренен с Максимом и покривил душой сказавши, что равнодушен к женщинам вообще.

Еще третьего дня он имел полное право сказать это, но вчера, прогуливаясь по Слободе, он встретил кибитку, в которой видал такое женское личико, что остановился как вкопанный, и сердце его усиленно забилося...

Это и была племянница Горбачева.

Когда Максим упомянул о ней, Семен Иванович почувствовал, что сердце его томительно сжалось...

Он понял всем своим существом, что это была она. Завтра он снова увидит ее?

VII. Первая любовь

Обедня в соборе Богоматери окончилась. В Александровской слободе господствовали воскресное оживление, исключая Купеческую улицу, которая казалась сравнительно пустынною.

Купеческие лавки и лабазы, все без исключения были заперты.

В то время на Руси казалось дико даже возбуждать вопрос о праздничном отдыхе; праздничный день в ту далекую от нас эпоху был на самом деле праздником, то есть днем, посвященным Богу, а не людям.

Даже иностранные купцы, «басурмане», как их называл народ, подчинялись этой силе народной набожности, да и не осмеливались, боясь взрыва негодования народа, заняться торговлей в воскресенье или в праздник.

Сила веры была крепка на Руси.

Был первый час после полудня.

В доме Федосея Афанасьевича Горбачева трапезовали.

За столом, уставленным всевозможными праздничными яствами и питиями, начиная

с пирогов и кончая квасами и крепкими медами, восседала вся многочисленная семья Горбачева: сам с самой, пять дочерей и три сына; старший, как мы знаем, остался в Новгороде.

В описываемое же нами воскресенье семья эта увеличилась еще прибывшей за два дня перед тем из Новгорода племянницей Федосея Афанасьевича, хорошо знакомой нам Аленушкой.

Последняя сидела рядом с младшей дочерью Горбачева Настей и кушала, заметно, очень лениво.

Вообще, она чувствовала себя с самого дня своего приезда в слободу не по себе.

Что случилось с ней, она не ведала сама.

И случилось-то так невзначай, неожиданно.

С какою радостью, с какими веселыми мыслями ехала она в Александровскую слободу, — эта радость немного омрачилась разлукой с отцом, — сколько надо было ей порассказать Насте о происшедшем за время отсутствия последней из Новгорода, какой короб новгородских новостей везла она для дяди и

тетки, а приехала и сделалась вдруг грустной, сосредоточенной, почти немой.

Какая же тому была причина?

Елена Афанасьевна и сама не знала ее, хотя с каким-то испугом о ней догадывалась.

Не ускользнуло это расположение духа Аленушки от старших, не ускользнуло оно и от ее подруги – Настасьи Федосеевны.

На расспросы первых и даже на расспросы своей любимой няньки, Агафьи Тихоновны, Елена Афанасьевна отвечала уклончиво, ссылаясь на нездоровье, и лишь допытыванье Насти сломило упорство, и Аленушка, упав на грудь подруги, сквозь слезы прошептала:

– Сглазил, видно, меня... он...

– Кто он? – удивленно спросила Настасья Федосеевна.

Это было в субботу. Молодые девушки сидели вечером в комнате Насти.

– А вечер, как въехала я в слободу, на грех из кибитки выглянула, а по дороге навстречу парень идет в чудном, расписном кафтане...

– Опричник? – вспыхнула Настя.

– Должно быть, из них... Глянула я на него и индо похолодела вся, никогда допрежь та-

кого красавца не видывала; русые кудри, из лица кровь с молоком, высокий, статный, а глазищи голубые так в душу мне и вперились... Зарделась я, чую, как кумач, и почуяла тоже, что посмотрела на него я тем взглядом, что доселе на добрых молодцов не глядывала... Да и он остановился как вкопанный и смотрит на меня, глаз не спускаючи...

– Кто же это был? – раздумчиво заметила Настя.

В ее голове мелькнула ревнивая мысль, что это Максим Григорьевич, красноречивые взгляды которого по ее адресу не остались ею не замеченными, и хотя она была к нему почти равнодушна, но все же предпочтение, оказанное им другой, заставило в ее сердце шевельнуться горькому чувству.

Ей даже показалось, что она сама любит Максима.

Такова от веки веков логика женского сердца.

Описанный Аленушкой портрет, впрочем, не совсем походил на оригинал, и молодая девушка успокоилась и даже почти радостно воскликнула:

– А!..

Она догадалась, кто был попавшийся на-встречу ее подруге опричник.

Елена Афанасьевна не слыхала этого «а!» Она сидела, задумавшись, и после довольно большой паузы отвечала:

– Мне почему знать, кто это, но только вот уже третий день, как стоит он предо мной, как живой, и не могу я выгнать образ его из моей памяти девичьей... Сглазил он меня, говорю, сглазил...

– Не глаз это, Аленушка... а любовь... – вдумчиво, серьезным тоном объявила Настя.

– Любовь... – машинально, с недоумением повторила Елена Афанасьевна.

– Да... Может, это Бог тебе у нас суженого на дорогу выслал...

– Это опричника-то? – с каким-то почти священным ужасом воскликнула Аленушка.

– Что ж, что опричник... Такой же человек, слуга царев... есть между ними охальники, разбойники, да не все... Отец многих из них очень жалует, да и все здешнее купечество... Поведаю уж я тебе тайну мою, я ведь знаю, кто это с тобою встретился...

– Знаешь! Кто? – встрепенулась Елена Афанасьевна, охотно согласившаяся с подружкой в мнении об опричниках.

«Что же, на самом деле, не все же душегубцы и кровопийцы, больше, чай, сплетни об них плетут», – пронеслась в ее голове.

– Это царский стремянной, Семен Карасев.

– Царский стремянной?.. А ты почему это знаешь? – воззрилась на нее Аленушка.

– Это-то и тайна моя, которую я тебе поведаю... К тятеньке ходит тут опричник один и тоже таково ласково на меня поглаживает...

– Ну...

– Да... из себя тоже красивый парень... на твоего похож, а твой-то его приятель... тоже, как мы с тобой, водой не разольешь... Не раз я его с ним видывала из окна горницы... как ты рассказываешь, так вылитый...

– Что ж ты его, твоего-то... любишь?.. – с расстановкой спросила подружку Елена Афанасьевна.

– Не знаю я, как и поведать тебе о том, – подперевши рукой свою пухленькую щечку, отвечала, не торопясь, Настасья Федосеевна. – Любить-то, кажись, по-настоящему не люблю,

а частенько на него взглядываю, люб он мне, не спорю, а полюбить-то его берегусь... проку из того мало будет... отец не отдаст, да и самой идти замуж за него боязно...

– Ведь я же и говорю, как можно... за опричника... – торопливо заметила Аленушка.

– Не то, а сын-то он... Малюты...

– Малюты!..

Елена Афанасьевна вздрогнула и даже отшатнулась от своей двоюродной сестры.

– Да, Малюты; не в отца пошел, такой тихий, хороший да ласковый, все говорят это, и тятенька, только в семью-то Малютину кто волей пойдет... кто возьмет себе такого свеко-ра... – заметила не по летам рассудительная девушка.

– И ты с ним выдаешься?

– Заходит к тятеньке, так кланяемся... но не часто, на улице иной раз встретишься...

– И только?.. – порывисто спросила взволнованная признанием подруги Елена Афанасьевна.

Хладнокровная Настасья Федосеевна удивленно посмотрела на нее.

– А с тем... с другим-то... не знакома?.. – вся зардевшись от смущения, с трудом спросила Аленушка.

– Нет... того так только мельком несколько раз видала... А что, аль тебе в другорядь пови-дать захотелось?.. – с улыбкой спросила Настя.

– Что же, не потаю от тебя, хотела бы, да и не только видеть, а и словцом с ним перекинуться; я не в тебя... коли любовь это, так чую я, что первая и последняя... не забыть мне его, добра молодца, сердце, как пташка, к нему из груди рвется, полетела бы я и сама за ним за тридевять земель, помани он меня только пальчиком... Слыхала я про любовь, да не ведала, что такой грозой на людей она надвигается...

– Что с тобой?.. – испуганно залепетала Настя, увидав, что глаза ее двоюродной сестры мечут молнии, а щеки горят красным пылом. – И впрямь, кажись, сглазил он тебя, от того и говоришь ты речи странные...

– Нет, не сглазил, поняла я теперь, ты же мне глаза открыла, люблю я его, люблю, хоть может никогда и не увижу его, добра молод-

ца...

Елена Афанасьевна замолкла и низко-низко опустила на грудь свое горевшее пожаром лицо.

– Ишь ты какая!.. Не даром в тебе цыганская кровь!.. – полушутя, полусерьезно заметила Настасья Федосеевна.

На это раз разговор подруг окончился.

Он не успокоил Елену Афанасьевну, почему она на другой день и за обедом была задумчива и рассеянна.

Трапеза оканчивалась, ели уже клюквенный кисель с молоком, когда дверь отворилась и в горницу вошли два опричника.

– Максиму Григорьевичу... милости просим, – встал с места Федосей Афанасьевич, обтирая ручником бороду и обратился к первому из вошедших.

За Максимом, немного позади, стоял Семен Иванович.

– Хлеб да соль... – произнес Скуратов, делая всем поясной поклон и успев окинуть восторженным взглядом Настасью Федосеевну.

– Не побрезгуйте! – отвечала хозяйка, Наталья Кузьминична, высокая, полная, дородная

женщина, совершенно под пару своему мужу, Федосею Афанасьевичу.

Глаза Семена Ивановича тоже на мгновение встретились с глазами Аленушки, и этот взгляд решил все, она поняла без слов, что они любят друг друга.

Девушки тотчас вышли из-за стола и пошли в свои светлицы, а в горнице остались, кроме гостей, лишь старик Горбачев с сыновьями да Наталья Кузьминична, на обязанности которой лежало угостить гостей почетными кубками.

– Вот уже ты и свиделась... подлинно, что суженого, конем, говорят, не объедешь! – шепнула Настя Аленушке, выходя из горницы.

– Не обессудь, Федосей Афанасьевич, – начал снова Максим Григорьевич, – я к тебе пожаловал с приятелем, друг мой закадычный и единственный... Наслышался он от меня о тебе, о доме твоём гостеприимном... захотел знакомство с тобою повести. Такой же он точно по мыслям, как и я, так коли я тебе, как ты мне не раз баял, по нраву пришелся, то и его прошу любить да жаловать...

Федосей Афанасьевич подошел сперва к Скуратову, обнял и троекратно облобызал, а затем обнял и поцеловал Семена Ивановича.

– Милости просим к столу, гости дорогие! Жена, наливай полней вина искрометного.

Гости сели за стол.

Хозяйка, поднеся кубки с поясными поклонами, вышла из горницы, оставив мужчин вести беседу.

Беседа эта затянулась надолго.

Семен Иванович не принимал, впрочем, в ней большого участия. Ему было не до того. Он чувствовал, что его бросало то в холод, то в жар от только что пережитого им взаимного взгляда; он ощущал, как трепетало в его груди сердце, и с сладостным страхом понимал, что это сердце более не принадлежит ему.

В сумерках только выбрались друзья из гостеприимного дома Горбачева.

– Ну что, какова моя-то зазнобушка?.. – спросил Максим Григорьевич.

– Ничего, краля видная, только перед приезжей не выстоит...

– Аль тебя тоже зазнобило?..

– Каюсь, сам не свой... да и не с нынешнего. Семен Иванович откровенно рассказал своему другу про первую его встречу с Еленой Афанасьевной.

– С Богом, засылай сватов, тебе можно, ты не отверженный... – печально произнес Скуратов.

– Сватов... – усмехнулся Карасев... – Кого же мне сватами засылать... Я, как ты знаешь, один как перст... ни вокруг, ни около...

– Так сам сватай... Федосей Афанасьевич человек разумный, поймет.

– Да что ты, брат, ошалел, что ли? Кажись, всерьез гутаришь... Два раза девушку видел... уж и сватай...

– А что ж, старые люди бают, коли первый раз хорошо взглянется, на долго тянется.

Друзья вошли на дворцовый двор, в одной из изб которого жил Семен Иванович.

Прошло несколько недель.

Роман Семена Иванова и Аленушки сделал необычайно быстрые успехи.

Мы не будем описывать в подробности его перепитии. Это может занять много места, а между тем у человеческого пера едва ли хва-

тит силы выразить галопирующее чувство, охватившее сердца влюбленных. Клены и вяза сада при доме Горбачевых одни были свидетелями и первого признания, и последующих любовных сцен между Семеном Ивановым и Еленой Афанасьевной.

В девушке, – Настасья Федосеевна была права – в самом деле, заговорила цыганская кровь ее матери: после второй встречи Семен Иванов не даром стал бродить у изгороди сада Горбачева, на третий или четвертый день он увидел свою зазнобушку около этой изгороди и отвесил почтительный поклон; ему ответили ласковой улыбкой; на следующий день он завязал разговор, ему отвечали. Аленушку не смутило и то, что ее двоюродная сестра, испугавшись этой дерзости «шальной цыганки», как мысленно называла ее Настя, убежала без оглядки из сада; она спокойно говорила с Карасевым...

Так и началось...

– Отец любит меня, я у него одна... приезжай туда сватать меня, а теперь и навсегда знай, я твоя невеста или ничья... За тебя или в гроб, так и отцу скажу... Не бойся, благосло-

вит... увидит, что без тебя мне не жисть... Любит он меня, говорю тебе... Знаю, что любит... И я его люблю, но для тебя, ясный сокол мой, и с ним малость повздорить решуся... – говорила Елена Афанасьевна за день до отъезда своего обратно в Новгород.

– А не поклониться ли наперед дяде Федосею Афанасьевичу... чтобы замолвил он словечко в грамотке брату своему, твоему батюшке, а то мне все боязно, как не будешь ты моей, моя касаточка, кралечка моя ясная... – говорил Карасев, нежно обнимая Аленушку.

– Поклонись, пожалуй, – не сопротивлялась та, – не мешает и его помощь, но только, хоть я и тятенькина, но и своя, и, как сказала тебе, так и будет, или твоей буду, или ничьей...

Тяжело было для них это последнее свиданье – свиданье разлуки.

Грустный, с поникшею головою, хотя и с радужными надеждами в сердце, ушел от сада Горбачевых в этот вечер Семен Иванов.

Печальнее его, впрочем, был в последние дни его друг, Максим Григорьев Скуратов.

Его последние надежды на обладание На-

стасьей Федосеевной были разрушены окончательно и безвозвратно.

К чести Семена Иванова, надо заметить, что он среди более чем пятинедельного упоения разделяемой любовью не забыл о своем друге, и через Аленушку выпросил Настю, может ли Максим питать какие-либо надежды на удачу своего сватовства. Ответ, полученный им для друга, был роковой:

– И люб он ей, да пусть лучше и не сватает... он сын Малюты, – сказала ему Елена Афанасьевна.

Конечно, не в этой форме передал этот ответ своему другу Карасев, но первый понял то, что не договорил его товарищ.

– Мне не видать счастья в этом мире, – грустно заметил Скуратов, – я сын Малюты.

На его лицо набежала мрачная тень, да так и не сходила с него.

Прошла неделя. Однажды вечером Максим Григорьев пришел к Карасеву...

– Побратаемся, – сказал он ему, – снимая с шеи золотой тельник, ты мой единственный душевный друг, тебя одного жаль мне оставлять в этом мире...

– С охотой побратаемся, – снял в свою очередь деревянный тельник Семен Иванов... – Но как это оставлять, ты это куда же собрался? – добавил он, видя Скуратова в дорожном платье.

– погоди, потом расскажу... – грустно отвечал тот, надевая свой крест на шею друга.

Последний благоговейно сделал то же самое.

Новые братья облобызались.

Обряд побратимства совершился...

– Так куда же ты... что задумал? – после некоторой паузы спросил Карасев.

– Вон из мира... В нем нет места сыну Милоты... Пойду замаливать грехи отца... Может, милосердный Господь внемлет моим молитвам и остановит окровавленную руку отца в ее адской работе... А я пойду куда-нибудь под монастырскую сень... повторяю, в мире нет места сыну палача... Да простит меня Бог и отец за резкое слово.

Он снова бросился на шею Семену Иванову и горячо на прощанье обнял его.

Карасев ничего не нашелся сказать, чтобы утешить или остановить несчастного.

Да и что мог сказать он?

И Максим ушел.

На другой же день весть о бегстве сына Григория Лукьяновича облетела всю Александровскую слободу.

Малюта был вне себя от гнева и разослал гонцов во все концы земли русской.

Но погоня была безуспешной.

Максим Григорьевич, что называется, как в воду канул.

Малюта заподозрил, что его сына приютил и скрывает новгородский архиепископ Пимен, и задумал, а с помощью Петра Волынца, составившего и тайком положившего за икону Богоматери в Софийском храме подложную изменную грамоту, исполнил тот новгородский погром, кровавыми картинами которого мы начали наше правдивое повествование.

Кроме того, Григорию Лукьяновичу доложили досужие языки, что видели Максима Григорьевича у изгороди сада Горбачевых, в беседе с приезжей из Новгорода красавицей – племянницей Федосея Афанасьевича. За Максима, видимо, приняли Семена Иванова, по-

хожего на него по фигуре.

Подозрительный Малюта и это намотал себе на ус, и этим объясняются его загадочные речи к Афанасию Афанасьевичу Горбачеву перед мученической смертью последнего на Городище.

Семен Иванов, конечно, ничего не ведавший о замыслах первого советника грозного царя, поклонился, как и говорил Аленушке, ее дяде Федосею Горбачеву.

– Сирота я круглый... некому за меня сватов заслать к отцу твоей племянницы, так будь отец родной, отпиши от себя брату, да и за меня, в память друга моего Максима, замолви словечко ласковое.

Он откровенно признался старику в их взаимной любви с Аленушкой.

– Хорошо, – ответил старик, – ты парень хоть куда, женишься, из опричнины выйдешь, ума тебе не занимать стать, тестю помогать станешь по торговле, а брату для дочери человек надобен, а не богатство, его у него и так хоть отбавляй, и то в пору... Да коли она тебе любя и ты ей... так мой совет брату будет, чтобы и за свадебку.

Не ожидавший такого быстрого согласия Карасев повалился в ноги Федосею Афанасьевичу.

Тот поднял его и облобызал.

– Не торопись благодарить, то мой ум раскинул, а у брата, чай, другой... А отпишу, сегодня же отпишу...

И Федосей Афанасьевич отписал.

Томительно шли недели. Наконец получен был ответ из Новгорода, просят-де зятюшку нареченного побывать, потому девка дурит наподи и сладу нету, вынь ей да положи жениха слободского, так хоть посмотреть, каков он из себя, и если хороший человек, то и по рукам ударить, волей-неволей, придется, дочка-то ведь одна.

Так писал Афанасий Афанасьевич.

Ликованию Семена Иванова не было конца.

Задумал он сейчас же отправиться на побывку в Новгород, да царь сам кликнул его да и услал в Литву, с письмом к князю Курбскому.

Произошла, таким образом, неожиданная отсрочка свидания с невестой, – он уже мог

называть ее так, – на несколько месяцев.

Отписал Федосей Афанасьевич и об этом брату и племяннице.

Семен Карасев уехал.

Мы видели, что застал он, когда наконец попал в этот дорогой его сердцу Новгород: замученного до смерти будущего тестя и опозоренную товарищами невесту.

VIII. В родительском доме

Тихо ехал Семен Иванов со своей роковой ношей по пустынным улицам Новгорода и думал свои горькие думы.

Как посмеялась над ним злодейка-судьба! Какими радужными мечтами тешила она его за последнее время, и вдруг... В один день, в один час почти отняла буквально все, чем красна была его жизнь.

Перед ним лежит почти бездыханный труп безумно любимой им девушки, впереди грозный суд царя и лезвие катского топора уже почти касается его шеи. Он чувствует холодное прикосновение железа, но он не своей головы жалеет... «Что станет с ней, с Аленушкой, когда она очнется... да и как привести ее в чувство... Где?... Какому надежному человеку поручить ее... и умереть спокойно... А если царь смилуется над своим верным слугой и не велит казнить... тоже в какой час попадешь, к нему... тогда... еще возможно счастье... если Аленушка да отдохнет... Опозоренная... так что же, не по своей воле... любя она ему и такая... любя еще более... мучени-

ца»... мелькают в голове его отрывочные, беспорядочные мысли.

Он въехал на Рогатицу. Тут жили богатые посадские люди новгородские. Тут же он знал, что находился и дом Афанасия Афанасьевича Горбачева.

Но где он? На улице ни души.

Вот, на его счастье, из калитки одного дома вышел, озираючись, какой-то мужичонко.

– Дядюшка, а дядюшка!.. – окликнул его Карасев.

Тот взглянул и чуть было не дал тягу, но Семен Иванов предупредил его, обскакав наперерез.

– Родимый, не погуби, не повинен в изменном деле, – упал тот перед ним на колени.

– Какое тут изменное дело!.. Где тут дом купца Горбачева?

Мужичонко даже ошалел от такого неожиданного вопроса. Семену Иванову пришлось повторить его.

– Горбача-то... А вон насупротив!.. – поднялся с колен успокоенный мужичонко. – Только его самого надысь прикончили, – добавил он, сделав выразительный жест рукою.

Карасев направился к воротам указанного дома, а мужичонко все-таки тотчас же дал тягу и скрылся в тех же воротах, откуда вышел.

Ворота указанного Семену Иванову дома были отворены настежь.

Он въехал во двор, осторожно слез с седла и, положив на левую руку бесчувственную Аленушку, правой привязал коня к столбу находившегося во дворе навеса.

Бережно понес он свою драгоценную ношу в дом.

Дверь в доме тоже была открыта настежь.

Он вошел в первую горницу.

С первых же шагов было видно, что дом разграблен дочиستا.

Семен Иванов положил Аленушку на лавку. Она не подавала никаких признаков жизни.

Он вышел снова во двор, добыл в полу кафтана чистого снегу и начал смачивать ей лицо, виски.

Холодная влага подействовала. Несчастная глубоко вздохнула.

– Аленушка! – тихо окликнул он ее.

Она с трудом открыла, видимо, от слез по-

тяжелевшие глаза.

– Сеня... Сенечка!..

Она сделала движение встать, но не могла.

– Лежи, лежи, родимая!

– Где отец?

– Жив, здоров, не тревожься...

– Неправда... Тот сказал... палками... – еле слышно простонала она.

– Брешет он, рыжий пес, брешет... Не тревожь себя, родная... для меня...

– Для тебя... а по что я-то нужна тебе такая... сегодняшняя...

– Дорога ты мне была и есть... невеста моя ненаглядная, – наклонился он к ней и поцеловал ее в лоб.

– Не тронь! – вскинула она на него свои чудные, истомленные страданьем глаза. – Не стою я тебя... Я погибшая...

– Что ты, что ты, родная, не гони меня от себя, твой я, по гроб жизни твой!

Он начал горячими поцелуями покрывать ее холодные руки.

В это время в соседней горнице раздались чьи-то слабые шаги.

Карасев торопливо обернулся, положив ру-

ку на кинжал. Он, видимо, ожидал врага и готов был до последней капли крови защищать свою ненаглядную, пришедшую в себя невесту.

Дверь скрипнула и отворилась. На ее пороге появилась одетая в лохмотья, исхудалая старуха: космы совершенно седых волос выбивались из-под сбившегося на бок повойника.

Пересохшие губы были искажены как бы от невыносимого внутреннего страдания, глаза дико горели каким-то неестественным блеском.

Женщина протянула вперед свои почти голые, костлявые руки.

Семен Иванов снял руку с кинжала и как-то невольно отступил назад перед этим страшным видением.

– Ты здесь, душегубец... опять! – прохрипела старуха.

– Кто это? – почти в паническом страхе произнес Карасев.

Елена Афанасьевна сделала усилие и присела на лавке.

– Агафьюшка! – тихо проговорила она.

Старуха действительно была Агафья Тихоновна. Семен Иванов не узнал ее, хотя несколько раз видел ее в Александровской слободе. До того изменили ее последние пережитые дни, во время которых она была свидетельницей наглого надругания над ее дитятком – Аленушкой, которую она не считала уже в живых, и мученической смерти ее хозяйина и благодетеля, Афанасия Афанасьевича, там, на Городище, где была и она.

Ум старухи не выдержал – он помутился.

Услыхав возглас Аленушки, Карасев пришел в себя и сделал шаг на встречу старухе.

– Какой же я душегуб, Агафья Тихоновна, я жених Елены Афанасьевны... Разве вы меня запамятовали?.. В слободе еще встречались.

– Жених!.. – своим перекошенным ртом засмеялась старуха... – У ней один теперь жених... Христос...

Костлявой рукой своей она указала сперва на Аленушку, а затем на небо.

Елена Афанасьевна, прислонившись к стене, неподвижно сидела и с каким-то инстинктивным испугом переводила свои полузакрытые от слабости глаза с няньки на Карасева и

обратно.

– Что вы, Агафья Тихоновна, заживо-то ее хороните, лучше проводите в опочивальню, да в постель уложите, ей отдохнуть, а мне к царю спешить надо, дело есть важное, – заметил Семен Иванов.

– Иди, иди к царю, он такой же, как ты, душегуб и кровопийца! – вскрикнула старуха, и, быстро бросившись вперед, встала между ним и Еленой Афанасьевной.

Он было сделал шаг, чтобы устранить ее, но она приняла угрожающую позу.

– Не подходи, не подпущу к моему дитятке! Прочь... без тебя управимся, не мужское это дело!..

Карасев колебался. Ему вдруг почему-то стало страшно оставить Аленушку в этом полуразоренном доме, с глазу на глаз со страшной старухой, говорящей какие-то нескладные речи.

Агафья Тихоновна, казалось, поняла его колебания.

– Иди же, говорю тебе, дай отдохнуть ей, я ее в постель уложу, не в опочивальню же ее мне пустить тебя прикажешь, не раздевать

же мне ее при тебе, и так уж она много сраму натерпелася! – начала она уж более спокойным голосом и глаза ее потускнели и глядели на Карасева простым, добрым взглядом.

Это его успокоило, а намек на то, что, быть может, он считает теперь возможным относиться к Аленушке с неуважением, до боли уязвил его сердце.

– Так я пойду, а ты, Агафья Тихоновна, не расстраивай ее речами вздорными, может, я скоро удосужусь назад, мигом оборочусь, а если, неровен час, задержусь, то успокой меня, что скроешь ее от ворогов...

– Будь покоен, добрый молодец, скрою так, что никому не найти ее, сызмальства ее выходила, чай, она мне все равно, что родная... Иди, иди себе с Богом, по делу али по досужеству, тебе об этом лучше знать...

– Какой там по досужеству, матушка Агафья Тихоновна, иду я на суд грозного царя, за то, что побил его опричников-охальников; не стерпело сердце молодецкое, видя их безобразия... Велит ли мне государь голову рубить али помилует, все в руке Божией, все в сердце царевом... как знать... Коли помилует, мигом

оберну сюда; нонешний день уж здесь подождите меня... А завтра с Богом, в слободу, к Федосею Афанасьевичу... авось как-нибудь стороной из города выберетесь... сбереги ее и сохрани мне ее душу ангельскую, – низко, почти в ноги поклонился старухе Семен Иванов.

– Иди, иди, будь спокоен, сберегу... ее душеньку... ах, сберегу! – загадочным тоном произнесла старуха.

Взволнованный Карасев не заметил этого тона и, взглянув в последний раз на Алену Афанасьевну, ласково смотревшую на него, и поклонившись в пояс обеим женщинам, вышел.

Отвязав во дворе своего коня, он вскочил на седло и быстро выехал за ворота, но вдруг остановился, снова соскочил наземь и, держа коня за повод, бережно притворил ворота, и только тогда снова вскочил в седло и поехал тихо по той же дороге, по какой ехал сюда, стараясь заметить местность и дома.

Тихая езда, впрочем, была ему необходима и по другим причинам: он хотел собраться с мыслями, хотел успокоиться от пережитых, такой массой нахлынувших на него страда-

ний, чтобы со светлым умом предстать пред царские очи и держать прямой ответ царю за свои поступки на Волховском мосту.

Он хорошо знал, что Малюта уже давно опередил его, забежал к Иоанну и успел непременно представить поступок его, Карасева, в нужном ему свете.

Семен Иванов, зная, что Григорий Лукьянович недолюбливает его с момента его случайного повышения самим царем, что он не раз нашептывал на него самому Иоанну, что де «Карась колдовством взял, а не удалью, медведям глаза отводил и живой из лап их выскользнул единственно чарами дьявола», а не искусством и беззаветной храбростью, но, к счастью для Карасева, Малюта со своим клепом не попадал к царю в благоприятную минуту.

Со времени же бегства Максима Григорьевича, Григорий Лукьянович, зная о дружбе сына с Карасем, положительно стал ненавидеть последнего, подозревая его в пособничестве побегу сына.

Все это хорошо сознавал молодой стремянной царский, и все это ничего не предвещало

ему доброго. Думалось ему, что хоть и любимец он Иоанна, а несдобровать ему за своевольную расправу с опричниками, не сносить ему своей буйной головушки.

А тут еще думы об ответе царю, ответе, от которого зависела буквально его жизнь, то и дело путались с мыслями об оставленной им любимой девушке, как-то за ней присмотрит старуха, даст ли ей покой она, чтобы могла подкрепиться сном живительным да расправить на постели мягкой свои усталые косточки?

«Только бы ей поправиться, да в слободу пробраться, дядя в обиду не даст... царь его, старика, жалует», – думал Карасев не будучи в состоянии подумать о себе, даже перед лицом почти неминуемой смерти.

– Будь что будет! – решил он, осаживая коня у крыльца царского дома.

IX. Пред лицом царя

Слух о происшествии на Волховском мосту достиг уже давно царского дома и вызвал на крыльцо толпу любопытных, с нетерпением ожидавших смельчака, решившегося заступиться за казненных по царскому повелению новгородцев.

Ожидание продолжалось уже очень долго, и иные стали сомневаться, сдержит ли дерзкий храбрец свое слово и явится ли сам перед ясные очи грозного царя.

– Задал, верно, тягу, подобру-поздорову... – замечали некоторые.

– Вестимо, не дурак, самому на плаху голову класть!.. – соглашались другие.

В числе ожидавших был и молодой Борис Годунов.

В момент, когда напряжение ожидания достигло своего апогея, на улице, где находился царский дом, показался всадник, осадивший своего коня у самого крыльца.

Это был Семен Иванов Карасев.

Годунов с первого взгляда узнал стремянного, медвежьего плясуна, и любопытство, в

связи с расчетом, заставило царского любимца-политика заговорить с учинившим побоище.

Хитрый Борис выслушал дело и пошел в хоромы, тут же решив помочь виноватому, который не думал запираяться и просить пощады. Это было выгодно для цели, у него уже обдуманной: низвергнуть Малюту, открыв глаза царю на злодеяния, совершаемые его именем.

Воротиться к царевичу, настроить его явиться к отцу-государю с предложением выслушать лично преступника, было для Бориса Федоровича делом не трудным и не долгим.

Григорий Лукьянович, хотя, как и думал Семен Иванов, заранее забежал к царю, но не вдруг решился прямо сказать ему о бое опричников на Волховском мосту, подготовля издалека царя и намекнув ему о сумасшествии стремянного Карася, который будто бы не помнил, за что поколол заигравших с ним товарищей, поддразнивших его медвежьей пляскою.

Все шло как по маслу...

Иоанн Васильевич сочувственно принял

известие о болезни своего верного слуги, лишь по свойственной ему подозрительности заметив:

– Разыскать, не было ли зла тут, не опоили ли его понасердку!

– Разузнаем, государь... Все разузнаем, а теперь нужно убрать малого в надежное место... не то бы дурного чего не учинил над собою...

Вдруг в царскую опочивальню вошел сильно взволнованный царевич Иван и прямо заговорил:

– Государь-батюшка, на Волховском мосту смута... Стремянной твой, Карась, побил опричников, обнажив меч, и напав на товарищей...

– Это дело, Ваня, Малюта не так докладывает... Карась-то с ума сбред... Не помнит ничего и понятия не имеет совсем... Поколел зубоскалов... Смеяться, вишь, да дразнить его вздумали...

– Малюта, государь, ошибается... Карась в полной памяти и в учиненном художестве не запирается... приносит полное покаяние.

– Просветление, что ли, на малого нашло?..

Повидать бы нам его надо постараться...

– Не просветление, государь-батюшка, а полное осознание... Карась сам приехал к тебе с повинною, у крыльца стоит, дожидается... Говорит все ясно и отчетливо, сам изволишь убедиться, коли повелишь ввести его.

– Коли здесь он и может все понимать, ввести...

– Ввести Карася, Борис! – крикнул поспешно царевич, чтобы предупредить Малюту, потерявшегося от раскрытия его лжи.

Через несколько минут растворились двери и Семен Иванов вошел с поникнутою головою.

– Виноват, великий государь! – начал он, преклонив колена. – Побил я грабителей и разбойников, не признав в них слуг твоих, когда сказали они, что доподлинно губить вели безвинных женщин, вместе с невестой моей Еленой Горбачевой. Вины за этими женщинами быть не может, а слуги твои – не иродовы избиватели младенцев. Меча, которым убил я извергов, не отдал я без твоей державной воли. Казни меня виноватого, защити только остальных безвинных... На защиту невесты,

которую любил я больше жизни, поднял я меч свой. Виновен ли я, рассудить правота твоя. Пощады не прошу, прошу справедливости... но тебе только, великий государь, поверю, коли сам скажешь мне, что с ведома твоего топят народ что ни день, с детьми...

– Поднявшие меч мечом и погибнуть должны!.. – отозвался царь, выслушав признание Карасева. – Ты бы должен помнить это и не быть мстителем, – добавил он грустно.

– Голова моя перед тобою, государь; повели казнить, но сперва выслушай...

– Говори!..

Семен Иванов подробно рассказал свое знакомство с Еленой, свою встречу с ней на мосту и свое впечатление от новгородского погрома.

– Знаю я, государь, одно, – заметил он, – неведомо, за что бьют и топят здесь в Новгороде сотнями слуги твои!..

Карасев умолк.

– Карать государь должен за крамолу! – отвечал Грозный, но в голове его слышались теперь не ярость и гнев, а глубокая скорбь и неуверенность. – Губить невинных мне, царю,

и в мысль не приходило... Казнить без суда я не приказывал... Ведуний каких-то упорных, не хотевших отвечать, только я велел, за нераскаянность при дознанной виновности, покарать по судебнику за злые дела их...

– Государь, – ответил Семен Иванов, – всех женщин и мужчин губили, и не спрашивали, за что... Коли нечего отвечать на вопрос о деле, которого не знаешь, поневоле скажешь: нет! Это ли не раскаянность и послушание? Это ли причина губить огулом без разбору?

При этих словах на лице Иоанна выразился величайший ужас.

На всех присутствовавших, исключая царевича да Бориса Годунова, слова Карасева произвели самые разнообразные действия, с общим ощущением трепета и неотразимости готового разразиться удара. Всегда дерзкий и находчивый, Григорий Лукьянович в это мгновение не мог совладать с собою и собрать мысли.

Взгляд, брошенный на него Грозным, заставил затрепетать злодея, и в сердце царя трепет его был самым неопровержимым доказательством страшного дела.

Иоанн Васильевич заметался и тяжело опустился на свое кресло, схватясь за голову, как бы стараясь удержать ее на плечах.

Действительно, голова у него закружилась и все окружающие завертелись вокруг него в какой-то бешеной пляске.

В горнице царила такая тишина, что слышно было усиленное биение сердца в груди присутствующих. Какая-то невыносимая тяжесть мешала вылетать воздуху из легких, хотя под напором его многие готовы были задохнуться.

Осилил первый эту бурю ужаса Иоанн и движением руки подозвал к себе Семена Иванова:

– А сослужил ты мне службу в Литве? Грамотку мою передал крамольнику? – почти ровным голосом спросил он.

– Исполнил, государь великий, в руки отдал твою грамотку подлому изменнику... С докладом о том и спешил к тебе в Новгород, да вот стряслась надо мной беда неминуемая...

– Исполать тебе, добрый молодец, что сослужил ты мне службу последнюю, не служить тебе больше в опричниках, коли поднял

ты меч на братьев своих, но и не отдам тебя в руки катские... Иди на все четыре стороны... Коли жив будешь, твоя доля, но и за убийство твое не положу кары на виновного... Тебе судья один Бог, а не я – грешный судья земной... И виноват ты в пролитии крови человеческой, и прав, не признав душегубцев слугами моими царскими... Как же мне судить тебя... Я, быть может, тебя виновнее... хоть и по неведению... Иди, говорю, от нас на все четыре стороны.

Царь привстал с кресла и даже поклонился Семену Иванову.

Последний стоял, низко опустив голову.

Мрачные мысли пронеслись в его мозгу, неожиданность царского помилования поразила его.

«Не хуже ли смерти такое помилование?» – неотвязно вертелся в голове его вопрос. Но он вспомнил об оставленной им Аленушке, и какое-то сладкое, теплое чувство стало подниматься из глубины его сердца...

Он поднял свой взгляд на царя, поклонился ему до земли и тихо вышел среди расступившихся присутствовавших.

Царь молчал, продолжая задумчиво сидеть в кресле.

Вдруг он воскликнул:

– Идите вон... все!

И снова гневный взгляд его упал на Малюту.

Этот взгляд не ускользнул от последнего и от Бориса Годунова.

– Уезжай тотчас же к войску, если жизнь дорога тебе... – шепнул тот Григорию Лукьяновичу по выходе из царской опочивальни.

Гордый Малюта, как известно, тотчас послушался этого «молокососа», как он называл Годунова.

Царь остался один.

Ум страждущего монарха получил, казалось ему, доселе неведомую пронизательность, усиливающую лишь теперь его душевную боль.

Сознание того, что он сам, всею душою старавшийся об улучшении народного быта, служил игрушкой врагов народа, попускавших его гнев и милость на кого хотелось этим извергам, – было самым язвительным терзанием среди накипевшей боли. Уверенность, те-

перь несомненная, что напуская на него страх придуманными восстаниями и заговорами, коварные клики злодеев набросили на самодержавного государя тень множества черных дел, самый намек на которые отвергнут был бы его совестью, умом и волею, – представляла царю его положение безвыходным. «Тиран, мучитель безвинных, руками таких же зверей, как он сам»... – вот что скажут потомки, не будучи в состоянии понять всей неотвратимости обмана, которым опутали умного правителя те, которых поставил он взамен адашевцев.

«Кто же поверит, – продолжал свои томительные думы Грозный, – что выбирая в свои наперсники зверей, носивших только человеческий образ, я не удовлетворял этим личным побуждениям своего злого сердца»?

Иоанн Васильевич горько зарыдал.

«И будут правы мои обвинители... по-своему совершенно правы... Не нравились ему, скажут они, не за то адашевцы, что всем ворочали и все забрали в свои руки, скрывая от царя правду и показывая, что им было нужно, – набрал он на смену таких же правите-

лей. Значит, нужна была ему эта шайка полновластных хозяев, заправляющих его именем? Адашевцы оказались недостаточно жестокими! Ему нужна была человеческая кровь... Пить и лить ее – выискалась шайка кромешников... От них уже, говорят, никому не было пощады... А я... опустил руки... Вижу и слышу только там, где мне указывают, и то, что мне говорят... натолковывают... Где была моя прозорливость, когда сомнение щемило сердце, а ухо склонялось к лепету коварного сплетения лжи и обмана на гибель сотням и тысячам... невинных»...

Царь в неистовстве бил себя в грудь.

«Ну, казню я своих злодеев, – продолжал он мыслить далее, – очистит ли меня осуждение и кара их от обвинения в потворстве с моей стороны сперва, а потом взваливания на них моей же вины? Их гибель, скажут, нужна была ему, чтобы себя обелить! Вот мое положение. Кому я, самодержец, скажу, что эти изверги так меня опутали, что я делал все им угодное и нужное и не подумал проверить да разузнать, подлинно ли мне представляют? Как царю не поверить донесению Слут

своих, когда он постоянно все и узнает только из этих донесений?! Сам собою я не имею и возможности открыть подлог и ложь, если захотят меня морочить»!

Иоанн встал с кресла и неровными шагами заходил по комнате, опираясь на костыль.

«Сознаться в невозможности видеть истину, самому заявить, что я не способен к управлению? А другие, если ты откажешься, способнее, что ли, его выполнить? Сесть на престол многие поохотятся – пусти только. Выполнить царские обязанности если не сможет привычный кормчий, по человечеству не свободный от промахов, где смочь повести их непривычному, неопытному?.. Меня – наследственного владыку – могли окружать прихлебатели, искатели милостей, первые враги государства... Не больше ли зла причинят они при случайно возвысившемся?»..

Царь подошел к аналою и тихо опустился на колени.

– Сердцеведец... – начал молиться он. – Ты зришь глубину души моей! Впал я в сети коварства... и перед судом Твоим не обинуюсь за зло, учиненное моим именем, понести за-

служенную мною кару. Верую в святость и неисповедимость судеб Твоих! Если же перед Тобою не хочу оправдываться неведением, какая польза перед людьми сваливать мне, самодержец, вину на презренных слуг! Карай меня, Господи, за зло, ими учиненное! Сознаю в этом Твое правосудие, но просвети... пока не настанет час кары! просвети мои умственные очи, да вторично не сделаюсь орудием людской злобы... Невознаградима кровь, пролитая злодеями при моем ослеплении... по крайней мере, нужно вознаградить кого можно и кто не предстал еще моим обвинителем перед Тобою, Судьею праведным[2].

Иоанн упал ниц перед иконами, и долго глухие рыдания колыхали его худое, изможденное страшным недугом, распростертое на полу тело.

В то время, когда несчастный венценосец горячо молился царю царей, помилованный им его верный слуга Семен Карасев во весь опор скакал по направлению к Рогатице, к заветному дому, где он оставил более чем полжизни.

Что ему было до того, что он теперь по сло-

ву царя отверженный между людьми, что каждый безнаказанно может убить его. За себя постоит он против всякого, постоит и защитит теперь и свою ненаглядную Аленушку.

«Что с ней? Жива ли она? Не напали ли опять без него кромешники... Да нет, старуха нянька чай как зеницу ока сбережет ее, схоронит, не найти никакому врагу... сама сказала мне...» – мелькают в голове его то тревожные, то успокоительные мысли.

Вот и заветный дом. Соскочил с коня Семен Иванов, отворил ворота, ввел коня и, привязав его к навесу, поспешил в дом.

«Здесь ли она? Жива ли?»

Он даже остановился от волнения, прежде нежели отворить дверь.

Х. Христова невеста

По выходе из горницы Семена Иванова Агафья Тихоновна несколько секунд молча смотрела на сидевшую на лавке, откинувшись к стене, Елену Афанасьевну, и вдруг дико, неистово захохотала.

Аленушка вздрогнула и с видимым усилением широко открыла на свою старую няньку удивленные глаза.

– Что с тобой, Агафьюшка?

– Агафьюшка... Какая же я тебе, девушка, Агафьюшка... – удивилась в свою очередь старуха. – Ты сама-то кто, девушка, будешь?

– Как кто я? Да разве ты не признала меня?.. Я... Аленушка...

Какой-то инстинктивный страх, вдруг ни с того, ни с сего обуявший Елену Афанасьевну, придал силы ослабевшему организму и она даже всем туловищем отделилась от стены.

– Аленушка... какая же это такая Аленушка... невдомек мне что-то девушка!

– Как какая? Да твоя же питомица, Афанасия Афанасьевича Горбачева дочь... али не признала, так изменилась я... с того дня как

тятеньку на правезж взяли... к царю...

– Ишь ты какая, девушка прыткая... Только меня, старуху, не морочь... глаз мне не отводи, потому без нужды это... не обманешь...

– Да что ты, Агафьюшка, опомнись, что мне тебя обманывать... я... я... Аленушка...

Елена Афанасьевна протянула к ней свои руки...

Старуха отступила.

– Говорю, девушка, не морочь... не обморочишь... Какая же можешь ты быть Аленушкой, когда у меня она одна была кралечка... как налетели вороги, взяли ее силком от меня и стали, как злые вороны, клевать тело ее белое... Сама я своими глазами видела, как они, надругавшись над моим ненаглядным дитятком, повели ее топить к мосту Волховскому... В небесах теперь витает ее душенька... Христовой невестой соделалась... Меня в горней обители ждет, чай, не дождетя душа ее ангельская... Скоро, скоро мы с ней свидимся, не жилища я на свете белом, не казнили меня злодеи кровожадные, загубили лишь ее, молодушку, сама себя казнию рукой старческой, довольно нажилась, навиделась... Вот и петля

уже приготовлена... да помешала ты мне с твоим любовником.

– Опомнись, Агафьюшка, что ты несешь за окоlesiцу, с каким таким любовником... это жених мой нареченный... Сеня... Семен Иванов... а я... я Аленушка, дочка Горбачева Афанасия Афанасьевича... А он, говорю, жених мой из слободы Александровской... спас он меня из рук моих надругателей...

– Жених, говоришь, девушка... Доброе дело, доброе дело... У моей касаточки, у Аленушки, тоже был жених нареченный, ждали мы его со дня на день... да дождались вместо него лютых врагов.

– Это он и есть, Агафьюшка, он, кого ждали мы с тятенькой.

– С тятенькой, а у тебя, девушка, есть и тятенька?..

– Да что ты, Агафьюшка, – уже совершенно взволнованным голосом заговорила Елена Афанасьевна, – битый час я говорю тебе, что я та самая Аленушка, твоя питомица, что жила в этом доме вместе с тятенькой, али ты совсем с перепугу лишилась памяти...

Агафья Тихоновна обвела Аленушку совер-

шенно бессознательным взглядом.

– Значит есть у тебя, девушка, тятенька... У моей касаточки тоже был тятенька, да сгубили его злодеи-кровопивцы... Ох, девушка, как они палками его дубасили, инда по всей по мне мураши забегали, отдал он душу свою честную Богу под ударами кромешников... Набольшой-то их, Малюта, перед казнью таково с сердцем с ним разговаривал, да и велел бить его до смерти.

– Как умер... тятенька?.. – вскочила даже с лавки Елена Афанасьевна и тут же как сноп грянулась на пол.

Агафья Тихоновна равнодушно посмотрела на упавшую.

– Ишь, что девка придумала, Аленушка-де я, да и весь сказ... Нянька-де – старуха полоумная, поверит мне и отдаст мне имение... Ловко она с полюбовником придумала, – заговорила уже сама с собой Агафья Тихоновна.

Наклонившись к лежавшей навзничь Елене Афанасьевне, старуха стала ее рассматривать.

– Такая же чернявая, как и Аленушка, только та была кровь с молоком, а эта, вишь,

какая худющая... Ишь, что выдумала, она... Аленушка... обманщица!..

Сумасшедшая старуха погрозилась ей своим костлявым кулаком.

– А этот, душегуб, кровопивец, что здесь был, – вспомнила она о Семене Иванове, – сохрани, говорит, Агафья Тихоновна! Лисит, злодей, тоже добрым прикидывается... Погоди, лисий хвост, сохраню я тебе твою любовницу, так сохраню, что и сам наищешься... Кажись, и он был, как тащили Аленушку, будто бы я его видела... Так и есть, видела... Как пить дать он и есть... Семь-ко я отомщу за Аленушку... Надругались над ней, ненаглядной, сгубили во цвете лет касаточку... Надругаюсь и я над любовницей изверга... Умерла моя кралечка... пусть и эта околет, проклятая!..

В глазах старухи сверкнул какой-то адский огонь. С протянутыми вперед костлявыми руками бросилась она на лежавшую Елену Афанасьевну и правой рукою с такой невероятною силою сжала ей горло, что глаза несчастной широко раскрылись в предсмертной агонии, а язык высунулся на половину изо рта.

Раздался предсмертный крик, и Аленушки не стало.

Агафья Тихоновна как бы окаменела над трупом задушенной ею женщины, и, сидя на полу, все сильнее и сильнее сжимала ей горло.

Она, казалось, с наслаждением впивалась глазами в искаженное лицо лежавшей и вдруг... в ужасе отняв руку, отскочила от мертвой.

– А кажись, это и впрямь... Аленушка! – диким голосом вскрикнула Агафья и остановясь посреди комнаты, стала снова тихо подходить к лежавшей, пристально рассматривая ее. – Да... да... вестимо, Аленушка...

Она подскочила к трупу и стала срывать с нее платье и рубашку.

На груди умершей блеснул золотой крест с четырьмя изумрудами.

– Она... она... Ах я окаянная! – простонала старуха, к которой на минуту явилось полное сознание.

Эта минута показалась ей страшно продолжительной. Весь ужас совершенного ею преступления восстал перед ней. Своими руками

она убила ту, которая ей была дороже и милее всего на свете... убила свою... Аленушку.

Светлый промежуток миновал, но сознание, что перед ней ее питомица Елена Афанасьевна, осталось.

Она стала тормошить труп.

– Аленушка, касаточка, встань, очнись, ненаглядная... это я, твоя здесь нянюшка, Агафья... встань ты, дитяtko, проснись... Что ж ты глядишь на меня, словно испугалася... язык-то спрячь... красавица...

Труп действительно глядел на нее во все глаза, в которых отразился весь ужас неожиданной смерти.

– Встань же, родимая... пойдём, милушка, в твою горенку, положу я тебя на постель пуховую, расправишь ты свои косточки усталые. Встань же... очнись!

Агафья Тихоновна то приподнимала труп в своих объятиях, то снова опускала его на пол, трясла за руки, а слезы ручьем текли из ее старческих глаз.

Снова наступил момент сознания.

– Умерла, умерла Аленушка, убила я ее, проклятая...

Она упала на труп, обливая его горячими слезами и огласила комнату дикими воплями.

Вдруг она остановилась, и какая-то блаженная улыбка появилась на ее губах.

– Это хорошо... кровопивцу она не достанется... она... Христова невеста... теперь у Него, Батюшки, в обители, а я с ней сейчас свяжусь...

Над лавкой, около которой лежал труп, на стене была перекладина, видимо оставшаяся от полки, на которой стояла серебряная посуда, украденная опричниками, сломавшими и самую полку. С быстротой молодой девушки вскочила старуха на лавку, привязала бывшую у ней в руках веревку с петлей, просунула в последнюю голову и быстрым движением опрокинув лавку, повисла на веревке.

Тяжелая дубовая лавка с такою силою упала на труп Аленушки, что рассекла ей лоб. Кровь не брызнула.

Среди невозмутимой тишины горницы раздался лишь протяжный крик удавленной, и затем все смолкло.

Глаза старухи тоже широко открылись и

как бы впились в глаза лежавшей под опрокинутой лавкой мертвой Аленушки.

Вид мертвой Агафьи Тихоновны с прикушенным до половины языком был страшен.

Не прошло и десяти минут после совершившейся ужасной катастрофы, как дверь в горницу дома Горбачева отворилась и на ее пороге с улыбкой радостного ожидания на губах появился Семен Иванов Карасев.

Взглядом, полным неподдающегося описанию ужаса, окинул он эти два обезображенных трупа и как подкошенный без чувств повалился у порога того дома, куда еще так недавно мечтал войти счастливым женихом.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Судные дни Великого Новгорода окончились.

Слова Семена Иванова Карасева запали глубоко в душу Иоанна. Он приказал прекратить следствие по изменному делу. Опричники были собраны и усажены в слободах, назначенных для их постоя. Царь на другой же день призвал к себе Бориса Годунова.

– Что в несчастном городе? – спросил он его.

– Боятся, государь, верить покуда минованию ужасов...

– О, Господи! Что мне делать преступнику!? – воскликнул царь, и крупные слезы покатались из его глаз.

– Во-первых, государь, благоволишь ободрить завтра уцелевших... Во-вторых, разошлем помянники по обителям о поминовении страдальцев и страдалиц от Малютиной злобы... и коварства.

– Моление о душах их наша обязанность, но не сильны они смыть с души моей злодеяства рабов моих.

– Государь, жертвы не встают... но за то грабителей, притеснителей, ради корысти путившихся на доносы, да не пощадит твое правосудие.

– Делай с ними что знаешь... и с Малютой.

– Ты не увидишь его более, государь... разве что доведется ему честно сложить голову в бою.

– О нем не напоминай... Приготовь все к выезду нашему... да собрать людей новгородских... хочу уверить их в безопасности.

Наступило утро, в полном смысле великопостное, сырое, промозглое, туманное. Небольшими и редкими кучками удалось расставить горожан, унылых, робких, загнанных, уцелевших от казней. Как живые тени, стояли эти остатки недавно еще густого и бодрого населения.

– Едет! Едет! – торопливо закричали десятники стрелецкие, равняя ряды приведенных. Последние сняли шапки и опустились на колени.

Иоанн въехал в круг их и дрожащим от волнения голосом заговорил:

– Ободритесь, граждане новгородские,

пусть судит Бог виновных пролития крови! Зла отныне не будет никому, ни единого. Узнал я, но поздно... злодейство. Кладу на душу мою излишество наказания, допущенное по моему неведению... Оставляю правителей справедливых... но памятуя, что человеку сродно погрешить, я повелел о делах ваших доносить мне прежде выполнения карательных приговоров...

Слова милости еще звучали в ушах не бывших в состоянии придти в себя горожан, а царь и царевич со свитою уже скрылись из виду.

Слова Бориса Годунова относительно Малюты исполнились – он умер честною смертию воина, положив голову на стене крепости Вигтенштейна, как бы в доказательство того, что его злодеяния превзошли меру земных казней.

Злоба его не коснулась Федосея Афанасьевича, который, получив после брата оставшееся имущество, передал торговые дела второму сыну, а сам после отъезда Иоаннова из слободы, перебрался в Москву, в которой дождал до глубокой старости, схоронив жену,

женив сыновей и выдав замуж дочерей, дождался не только внуков, но и правнуков.

В Юрьевом Новгородском монастыре, золоченые главы которого и до сих пор блестят на солнце, пленяя взор путешественника и вливают в его душу чувство благоговения, среди уцелевшей братии появился новый, строгий к себе послушник, принявший обет молчания. Слава о его святой жизни скоро разнеслась в народе, сотнями стекавшемся посмотреть на «молчальника».

Через несколько лет этот послушник принял схиму, под именем отца Зосима.

Это был никто иной, как Семен Иванов Карасев, оставшийся в живых и поседевший в одну ночь, проведенную в беспамятстве, около трупа несчастной Аленушки и не менее несчастной Агафьи Тихоновой.

В помянниках Иоанна Грозного эти две жертвы новгородского погрома записаны не были.



Примечания

1

Так назывались музыкальные инструменты того времени (*прим. авт.*)

[^^^]

П. Н. Петров. «Царский Суд» истцов. Кроме этой «молитвы царя», некоторые из предыдущих картин новгородского погрома заимствованы мною из той же повести.

[^^^]